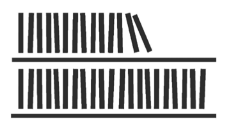
И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

ВОСПОМИНАНИЯ КАМЕРГЕРА

Составление и примечания
С. С. Тхоржевского

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ



НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС





Иван Иванович Тхоржевский
(1878–1951)

УДК 94(47).083+929
ББК 63.3(2)53
Т 927

Тхоржевский И. И.

Т 927 Последний Петербург. Воспоминания камергера / И. И. Тхоржевский. – СПб.: Алетейя, 2020. – 258 с.

ISBN 978-5-89329-170-4

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик.

Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем.

В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевским в печатный текст парижского издания книги четверостиший.

Для самого широкого круга читателей.

УДК 94(47).083+929
ББК 63.3(2)53



© С. С. Тхоржевский, 1999
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020

ШПАГА ЗА ШКАФОМ

Вместо предисловия

В ночь на 13 февраля 1944 года, когда у меня дома, в Ленинграде, проводился обыск, молодой лейтенант обнаружил за шкафом шпагу в ножнах.

— Холодное оружие! — многозначительно отметил он, повертел шпагу в руках и присоединил ее к отобранным недозволенным книгам.

Но разве это было оружие? За шкафом лежала шпага отнюдь не военная. Такая шпага составляла часть экипировки камергера царского двора. Камергером с 1912 года до 1917 был мой дядя Иван Иванович Тхоржевский.

При своем вынужденном бегстве в Финляндию в 1919 году он, разумеется, шпагу не стал брать с собой. Она осталась в его петербургской квартире на Сергиевской (ныне улица Чайковского). Его брат — и мой отец — шпагу, вместе с некоторыми другими оставшимися вещами, позднее перенес к себе.

Не знаю, где находилась эта шпага в январе 1930 года, когда был арестован мой отец. Во всяком случае, тогда ее не нашли.

Ивана Ивановича Тхоржевского, моего дядю, я никогда не видел. Видел его фотографии. Слышал

о нем устные рассказы и лишь в последние годы кое-что смог о нем прочесть.

Дядя Ваня был на пятнадцать лет старше моего отца, и это в первую очередь определило разницу в их биографиях. Начиналась жизнь обоих братьев примерно одинаково: оба с отличием окончили гимназию в Тифлисе, оба с отличием окончили юридический факультет Петербургского университета и были оставлены при университете «для подготовки к профессорскому званию». Ну, а дальше...

Иван Тхоржевский предпочел университетской карьере государственную службу, его приняли в канцелярию Совета (тогда еще Комитета) министров. Он был энергичен, деятелен, умел юридически обоснованно составлять важные бумаги и слыл хорошим стилистом. Осенью 1905 года на него обратил внимание председатель Совета министров Витте — распорядился включить его в число шести чиновников, поочередно при нем, Витте, дежуривших.

После отставки Витте Совет министров был возглавлен на короткий срок Горемыкиным, а затем Столыпиным. Столыпин, как известно, начал проводить в России важнейшую земельную реформу, она означала предстоящее уничтожение общинного метода ведения сельского хозяйства. Общинная земля должна была быть разделена между крестьянами, отдана им в собственность. Но русская деревня страдала от малоземелья, и Столыпин видел выход из положения в массовом переселении крестьян на еще не освоенные земли в Сибирь и другие края. Проводить столыпинскую реформу в жизнь должно было, в частности, Переселенческое управление.

Назначенный помощником начальника этого управления 30-летний Иван Тхоржевский стал деятельным сторонником реформы. В конце лета 1910 года он в составе группы из пяти человек сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири, готовил его письменный отчет — для представления царю. В специальном вагоне поезда и на пароходе по Иртышу докладывали Столыпину о положении дел местные чиновники. Во время этой поездки (как вспоминает Иван Тхоржевский) Столыпин «не сделал ни одной лишней поблажки: ни чиновничьей лени, ни мужицкой неразберихе, ни татарскому халату, ни русской обломовщине».

Столыпин представлялся ему антиподом другому могущественному государственному деятелю, Победоносцеву, чей крайний консерватизм определял политику Александра Третьего и — долгое время — Николая Второго. Много лет спустя, в 1940 году, в парижской газете «Возрождение», Иван Тхоржевский писал в статье «Навстречу своему жребию»: «Александр III самый тяжелый тормоз прикрепил к крестьянскому делу. Это было основной ошибкой его эпохи, в России закреплялась община, а стало быть, крестьянская нищета и крестьянские коммунистические настроения. Не случайно эти усилия приводили к оскудению и прорвались в 1891 году голодом. Продолжать крестьянскую политику императора Александра III и К. П. Победоносцева значило продолжать в России „промедление времени“ в крестьянском вопросе, длить русскую нищету. Вся первая половина царствования императора Николая II и была продолжением этой ошибки, упорствованием в ней». И о том же — в статье Ивана

Тхоржевского «Наша смена» (в той же газете, в 1939 году): «Победоносцев охранял в России косность и бедность, душную и голодную крестьянскую общину. Скудное захолустное убожество жизни русской оправдывалось у него идеей смирения. Даже земельные крестьянские переделы оправдывались православным народным обычаем: “чего мало — кроши мелей”. За двадцать лет победоносцевского застоя мы заплатили потом революцией: опоздали к великой встряске войны с нужным до зарезу внутренним, особенно земельным переустройством».

«Только война может погубить Россию», — эти слова Столыпина вспоминались Ивану Тхоржевскому в 1937 году, когда он писал (также на страницах «Возрождения»): «Нужна была мировая война, нужно было безумное ослепление последних месяцев русской власти, чтобы уничтожить все блистательные плоды Витте-Столыпинской работы. (Я умышленно, и не в первый раз, соединяю эти два различных, но славных имени. Враждуя друг с другом, они оба служили одному делу: перестройке России на более современный и крепкий лад). Войною было всё сорвано: укрепление русского представительного строя, начатый капитальный “внутренний ремонт” России по всем областям ее жизни. Сорван был расцвет России и начало ее политической возмужалости».

Защитники общины во множестве объявлялись как справа, так и слева. Победоносцев и прочие российские консерваторы не желали отмены общины потому, что были вообще против любых социальных перемен. Революционеры же опасались, что

уничтожение общины предотвратит столь желаемую для них революцию.

«Столыпин хорошо знал, что великая империя может быть основана только на чести и справедливости. Насилие — дело временное, на нем далеко не уедешь. Недалеко уедешь и на одних молебствиях». — Это слова из статьи Ивана Тхоржевского «Наша смена». Убежденный в исторической правоте Столыпина, он всячески подчеркивал неординарность этой выдающейся личности. Вспоминал в одной из статей своих 1940 года («Изгнаннический парус»): «Как гордился Столыпин-министр своим родством с Лермонтовым! Как склонялся он перед поэтом! В дни сибирской поездки 1910 г. я слышал от него об этом в случайном разговоре о Лермонтове, на пароходе по Иртышу».

Убийство Столыпина, как роковое последствие враждебности к нему и справа и слева, его сторонники восприняли, естественно, как трагедию для России. Иван Тхоржевский написал и напечатал панегирическое стихотворение «Памяти П. А. Столыпина».

Стихи он писал с юных лет, но стать профессиональным литератором явно не собирался. Печатал чаще всего стихотворные переводы, первый сборник собственных стихов «Облака» издал в Петербурге в 1908 году, второй — «Дань солнцу» — в 1916.

В 1913 году он был назначен управляющим канцелярией ведомства землеустройства и земледелия (двумя годами позже переименованного в министерство земледелия). В этой должности он стал ближайшим помощником министра — Александра Васильевича Кривошеина.

Но, разумеется, объявление войны с Германией отодвинуло земельные реформы на второй план.

В начале августа 1915 года Кривошеин в своем кабинете поделился с Тхоржевским новостью: царь решил сам стать во главе действующей армии. Это самоуверенное царское решение приводило министра в ужас...

В воспоминаниях невестки Льва Николаевича Толстого (жены его сына Андрея) Екатерины Васильевны Толстой рассказан такой случай — в Петрограде, по-видимому, в сентябре 1915 года:

«Большая компания наших друзей и знакомых завтракала в ресторане. Было очень оживленно и весело. Среди нас не хватало только И. И. Тхоржевского (начальника канцелярии министра земледелия Кривошеина). Его поджидали с доклада у министра и, когда он наконец явился, его встретили бурной овацией, так как все его очень любили.

Он сел как раз напротив меня и поразил меня своей бледностью и взволнованностью. Он обвел нас всех взглядом и сказал только: “Никто не понимает и не видит, а мы стоим накануне краха. Всё рухнет, всё!!!” Но тут все стали наливать ему вино, кричать, шуметь. Он встряхнулся, махнул рукой и вошел в круг».

Он уже видел, что власть в России — при унизительном влиянии на царскую семью проходимца Распутина — становится все более беспомощной, что императрица, далекая от понимания всего происходящего в России, все более вмешивается в дела государства — и это вмешательство гибельно.

В конце сентября Кривошеин вынужден был уйти в отставку. В ноябре царь подписал указ о

назначении нового министра земледелия. Пост министра получил самарский губернский предводитель дворянства Наумов.

Впоследствии Наумов написал в воспоминаниях: «Утром в день получения указа меня посетил управляющий канцелярией министерства земледелия камергер Иван Иванович Тхоржевский. Он произвел на меня самое благоприятное впечатление своей поразительной осведомленностью в делах министерства, толковостью, умением излагать свои мысли, чуткостью и, наконец, самой манерой держать себя, указывавшей на большую выдержку и природную благовоспитанность. Превосходно владевший пером, одаренный вдобавок поэтическим талантом, Тхоржевский, как я вскоре узнал, оказывал моему предшественнику незаменимые услуги по подготовке публичных выступлений и составлению деловых записок».

Так что его служебная карьера с уходом Кривошеина ничуть не пошатнулась, при новом министре он был произведен в действительные статские советники.

Министр Наумов продолжал политическую линию Кривошеина и не захотел стать пешкой в руках императрицы и ее круга. Он возмутился, когда председателем Совета министров был назначен Штюрмер, ничтожный царедворец, явно непригодный к государственной деятельности, тем более — во время войны. Тхоржевский впоследствии подчеркивал в одной статье, что это ведь Распутин подсказал императрице кандидатуру Штюрмера, «уже совершенно неприемлемого ни для Думы, ни вообще для честных людей». Кандидатам на министерские

посты Распутин устраивал унизительные «смотрины»...

Николай II, как верховный главнокомандующий, пребывал в Могилеве, где была расквартирована его ставка. В июне 1916 года Наумов прибыл в ставку на один день, царь его принял, и министр высказал царю убеждение, что «нынешний премьер достойным помощником ему быть не может». Царь холодно дал понять, что не намерен расставаться со Штюрмером (Иван Тхоржевский писал впоследствии, что Николай II был «человек сложный, полный и тайной внутренней обреченности, и тихого нравственного упрямства»). Наумов понял, что отставка ждет его самого, подавленный вернулся в Петроград и через две недели был отстранен от своего поста. Тхоржевский, как управляющий канцелярией министерства, сопровождал министра в Могилев и после возвращения в Петроград подал в отставку немедленно, не дожидаясь, когда Наумова сменит другой министр, приемлемый для Штюрмера и Распутина.

Оставалась возможность достаточно хорошо оплаченной частной службы. В декабре 1916 года в Петрограде открылся Нидерландский банк для Русской Торговли, и учредительное собрание акционеров избрало его председателем совета акционеров банка. Перед ним открыл свои двери также Русский Торгово-Промышленный банк — тут Иван Иванович стал членом правления. Притом он еще был акционером петроградской промышленной мануфактуры «Треугольник».

До Петрограда докатывались грозные вести о поражениях на фронте, становилась явной небоеспособность армии.

Революцию 1917 года Иван Тхоржевский ощутил как бездну, причем роковой рубеж увидел в отречении царя. Николай II отрекся в пользу брата Михаила, а Михаил отказался принять корону, и, таким образом, в династии Романовых не нашлось человека, способного удержать власть в самый критический момент.

Иван Тхоржевский был убежден, что в России монархия воплощает в себе вековые устои, освященные исторической традицией. В недавние годы оказавшись в числе непосредственных помощников Витте, а затем Столыпина и Кривошеина, он уверовал в возможность радикальной реформы в рамках монархической авторитарной системы и считал, что в России крах этой системы может породить только хаос (именно это и произошло!).

К Временному правительству он отнесся с недоверием и раздражением, а к Октябрьской революции — прямо враждебно. Поэтому в конце 1917 года, когда по инициативе Кривошеина возникла в Петрограде тайная монархическая организация (преобразованная затем в Правый центр), Тхоржевский немедленно к ней примкнул. В его квартире на Сергиевской происходили первые собрания этой организации...

Не знаю, как он прожил в Петрограде до лета 1919 года, когда выехал тайно в Гельсингфорс. Из Гельсингфорса вел переписку с Кривошеиным — слал письма в Екатеринодар, на территорию, занятую белой армией. Не раз отправлялся на пароходе

в Ревель для переговоров с представителями Северо-Западного правительства (при генерале Юдениче). Тхоржевский стал одним из инициаторов создания в Финляндии русского «Общества для борьбы с большевизмом» и 8 октября произнес программную речь на первом собрании этого общества. Там же, в Гельсингфорсе, он принял участие в издании газеты «Русская жизнь» (с января 1920 переименованной в «Новую русскую жизнь»).

К зиме удалось ему вывезти семью из Петрограда — ночью, с двумя проводниками, жена и дети перешли финскую границу.

Вскоре Тхоржевский отправился в Париж. Там — видимо, уже в конце лета — получил письмо от Кривошеина, который предлагал ему незамедлительно прибыть в Крым. Дело в том, что генерал Врангель предложил Кривошеину возглавить белое правительство в Крыму, и новый премьер-министр предлагал своему испытанному сотруднику стать управляющим делами нового Совета министров. С паспортом, выданным российским посольством в Париже, Тхоржевский в сентябре добрался на поезде до Константинополя, оттуда — на пароходе — в Крым.

Но для армии Врангеля дни уже были сочтены.

В конце сентября и в начале октября в Севастополе состоялось финансово-экономическое совещание, на последнем заседании которого генерал Врангель поблагодарил участников за их помощь правительству Юга России и выразил уверенность, что по отъезде за границу все они будут помогать «русскому национальному делу».

Иван Тхоржевский был одним из участников этого совещания. Вероятно, не одного его удручала бесплодность прошедших дебатов. Он сочинил тогда — не для печати — язвительное и горькое стихотворение «Крымский съезд» («Явились; много острого сбрехнули языком; но Крым из полуострова не стал материком». Остальные стихотворные строчки — в том же духе).

Последнее белое правительство 1 ноября 1920 года (по новому стилю) собралось в последний раз. 12 ноября должна была начаться эвакуация Крыма — погрузка воинских частей на корабли.

Врангель отправлял Кривошеина в Константинополь первым — подготовить встречу белой армии на берегах Босфора.

Годы спустя Иван Тхоржевский вспоминал почти с содроганием: «Как забыть эти сухие севастопольские морозы с ледяным ветром...» Вечером 10 ноября покидали Крым Кривошеин, его сын Игорь, редактор врангелевской газеты «Великая Россия» Чебышев и управляющий делами правительства Тхоржевский. Вчетвером выехали в автомобиле на Графскую пристань, чтобы ровно в полночь подняться на борт английского адмиральского крейсера «Кентавр».

«На Графской пристани катера главнокомандующего не оказалось, — вспоминает Чебышев. — Сели во французскую моторную лодку, поддерживавшую связь с другой стороной бухты. Исколесили всю бухту, но “Кентавра” не нашли. Француз-офицер уверял, что “Кентавр” ушел днем.

Вернулись на Графскую пристань. Игорь Кривошеин пошел во дворец за разъяснением. Оказалось,

что катер ждет нас на Минной пристани. Катер, действительно, там нас ждал. Отвалили. До полуночи оставалось всего четверть часа.

“Кентавр” стоял в Стрелецкой бухте... Катер шел полным ходом. Из трубы вырывались искры и пламя. Бухта и берега были погружены во мрак.

Вдруг вырисовался в темноте крейсер, сиявший электрическими огнями...

У трапа Кривошеина встретил адмирал со штабом. Нас провели к адмиралу в салон, где горел огонь в печке-камине. Когда мы уселись в мягкие кресла и протянули ноги к огню — нервы стали разматываться и приходить в норму. Кривошеин спал на диване одетый. Мы с Тхоржевским — в креслах, я сразу заснул. Ночью проснулся. Крейсер шел. Мы оставили Россию, на этот раз надолго».

Потом оказалось, что оставили навсегда.

Ивану Тхоржевскому запомнилось, что он провел «страшную бессонную ночь на английском крейсере». В глазах Кривошеина «тогда уже ясно читалась смерть, сразившая его через несколько месяцев...»

В декабре 1920 Тхоржевский вернулся в Париж, сюда же прибыла его семья. Ему еще везло: продолжал существовать — уже во Франции — Русский Торгово-Промышленный банк, и, как единственный член петербургского правления банка, оказавшийся в Париже, Тхоржевский вошел и в новый состав правления. Банк помещался в доме на rue Scribe, из окон его конторы видна была крыша здания Grand Opéra.

Но вот в октябре 1924 года французское правительство решило признать советскую власть в России. Затем, учитывая огромные российские долги

Франции, правительство наложило секвестр на имущество двух русских банков в Париже. Так что Торгово-Промышленному банку пришел конец. Тхоржевскому пришлось искать другие средства к существованию.

Возвращаться в Россию, под власть большевиков, было немыслимо, надо было находить свое место здесь... Иван Тхоржевский стал усердно сотрудничать в русской эмигрантской прессе. Под псевдонимом Джон и под собственным именем. Писал статьи. Публиковал свои поэтические переводы. Материальной опорой становилось то, что прежде было лишь занятием для души.

Его наибольшей поэтической удачей оказались вольные переводы четверостиший Омара Хайяма, в 1926 году они печатались, не полностью, в парижских «Современных записках», а в 1928 вышли отдельным изданием.

Чтобы добиться удачи, поэту-переводчику нужен не только талант, нужна созвучность того, что он переводит, тому, что он чувствует и переживает сам. Переживаниям русского литератора-эмигранта оказались созвучны многие четверостишия Хайяма. Например, вот это, Тхоржевским пересказанное посвоему:

«Не станет нас!» А Миру хоть бы что.
«Исчезнет след!» А Миру хоть бы что.
Нас не было, а он сиял, и будет!
Исчезнем — мы. А Миру хоть бы что!

Много лет он был постоянным сотрудником «Возрождения», газеты монархической, что, однако, не обязывало его оправдывать любые прошлые действия Николая II или несерьезное решение великого

князя Кирилла Владимировича — в 1924 году великий князь, пребывая в эмиграции, провозгласил себя императором всероссийским Кириллом I. О нем Иван Тхоржевский написал иронические стихи, в которых были такие строчки:

Всё о троне русском грезит...
Обожди, отец честной,
Кто ж христосоваться лезет
В понедельник на Страстной?

В стихотворном фельетоне на страницах «Возрождения» в 1925 году Тхоржевский высмеял и левое крыло эмиграции, готовое смириться с разрушением прежней России:

Очернили белое,
Обеляют красное,
Растеряли целое,
Баламутят ясное.

Эмигрантская пресса бесконечно дискутировала вопрос: кто виноват в падении Российской империи? «Ответ слишком ясен: все...» — так утверждал на страницах «Возрождения» Иван Тхоржевский.

Но его томили не только раздумья о минувших годах. В 1937 году он писал в статье «Большевики, Герцен и эмиграция»: «„С того берега“ мы, подобно Герцену, рвемся — не властвовать над Россией, а раскрепостить, развязать ее! С Герценом у нас больше, чем мы думаем. Разве не лучшим девизом национальной эмиграции русской был бы старый, звенящий девиз герценовского „Колокола“ — „Зову живых!“»

Как и большинство эмигрантов, он не утрачивал веры в недалекий крах сталинского режима и свое возвращение в Россию. Он писал уже накануне новой мировой войны, в 1939 году: «Конечно, все мы унесем домой с Запада немало разочарований и, вместе с душевной возмужалостью, наш внутренний теперешний холодок к „чужому". Но так просто, по-большевицки, шапками закидывать Европу и нелепо кичиться перед ней мы не будем. России придется долго еще черпать и вливать в себя полной чашей западную деловую энергию... Между тем многие русские люди за рубежом — больны (чисто по-большевицки) манией нашего во всем превосходства». Он утверждал: «У нас многое было мягче, лучше, но нам не хватало выдержки, не было крепкого станового хребта культуры — уважения к себе и к чужому праву. Душа культуры — не страсть, а именно *уважение* к своему и к чужому».

Но история поворачивала совсем не на тот путь, на который так долго уповала русская эмиграция. Воображаемое воскресение России отодвигалось во времени, как мираж, в неопределенную даль. Для души оставалась лишь та Россия, которая помнилась...

Когда разгорелась вторая мировая война и немцы заняли Париж, газета «Возрождение» перестала существовать. Печататься Ивану Ивановичу уже было негде, он бедствовал, целые дни проводил в библиотеках, читал, записывал свои размышления о русской литературе. В зимнее время в библиотеках было тепло, а дома холодно, так что домой он не торопился. Выручала материальная поддержка друзей, особенно помогал ему писатель Владимир Пи-

менович Крымов, состоятельный и деловой человек, сумевший приобрести капитал уже после революции, за рубежом. Все военное время Иван Иванович оставался в Париже, завершил книгу «Русская литература». Двумя изданиями она вышла в Париже уже после войны. Часть ее была первоначально издана во французском переводе. Книга эта — своего рода панорама, обзор, в ней множество характеристик, иногда очень метких, часто весьма субъективных, спорных. Впоследствии писатель Борис Константинович Зайцев замечал по поводу этой книги и ее автора: «Странно было бы ждать от него „литературоведения", научности, слишком он был непосредственно даровит, не систематичен, не упорен. Получилась огромная, очень занятно написанная книга. (...) Школьного в книге нет. Это антипод учебнику».

После войны газета «Возрождение» не возродилась. Но Иван Иванович уговорил ее престарелого и все еще довольно богатого издателя выпускать под тем же названием журнал. С 1949 года журнал «Возрождение» — тонкий, тетрадями — начал выходить; Иван Иванович, как редактор, взялся за дело горячо, но здоровье подвело, сказался возраст, и через год он был вынужден отказаться от редакторства. Умер он 11 марта 1951 года в Париже и похоронен на православном кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

В некрологе Борис Константинович Зайцев написал: «Я не знал Тхоржевского в его молодые годы, петербургские. Но видел портрет того времени. Он изображен в камергерском мундире, еще худенький, с лицом нервным и действенным, воз-

будимым (польская кровь). Этот Тхоржевский — даровитый и живой, широко образованный. (...) Был, конечно, разносторонен и раскидист, на многое откликаясь, многим воодушевляясь, вряд ли особенно сосредоточиваясь на чем-нибудь. (...) Затрудняюсь представить себе Ивана Ивановича чиновником. Слишком он был и жив, и остр, жизнелюбив, горяч, непоседлив. Думаю, больше всего тянула его к себе сама жизнь — в ее формах прельстительных — любовь, искусство, даже азарт игры. (...) Живого Ивана Ивановича, веселого, оживленного, всегда чем-нибудь увлекающегося, увидел только в эмиграции (и всегда чувствовал к нему неколебимое расположение). С ним всегда было интересно, легко...»

Незадолго до смерти он успел написать две главы задуманной книги воспоминаний. Дал ей общий заголовок «Последний Петербург. Воспоминания камергера».

В предлагаемом издании к первым двум главам добавлены его мемуарные очерки, в разное время они печатались в периодике. Даны приложения: фрагмент статьи «Земля и скифы», избранные стихи и стихотворные переводы. Все это в целом дает выразительный автопортрет на фоне эпохи.

С. С. Тхоржевский

Санкт-Петербург
1999 г.

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

ВОСПОМИНАНИЯ КАМЕРГЕРА

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ

В 1901 году я окончил Петербургский университет и был при нем оставлен: для подготовки к профессорскому званию, по кафедре русского государственного права.

Еще в университете я подружился с бароном Нольде, будущей большой знаменитостью в области международного права. Но в дни своего студенчества барон над международным правом слегка подсмеивался: увлекался больше государственным правом и историей политических учений. На этом мы и сошлись: оба писали сочинения (о Руссо, о Бенжамене Констане), получали золотые медали и спорили до хрипоты на студенческих диспутах. А потом стали бывать друг у друга, сблизились. Через

несколько лет мы и породнились, женившись на двух родных сестрах (Искрицких).

Отец Нольде был видный петербургский чиновник, товарищ Главноуправляющего Собственной Его Величества Канцелярией (Танеева). Человек небольшого роста, с длиннейшей, прославленной на всю столицу рыжей выхоленной бородой, делавшей его похожим на пушкинского «карлу Черномора». Он вел свое происхождение от немцев-крестоносцев. Гордился тем, что в его фамильном гербе был изображен побежденный сарацин (мы непочтительно его дразнили, уверяя, что это «негритянка»). Но немецкого в его характере осталось уже очень мало: это был простой, умный и либеральный рязанский помещик, очень живой и очень веселый, слегка даже беспечный. Мне казалось иногда, что я дружу собственно с ним, а не с его сыном; сын был и тогда уже не по возрасту серьезен и практичен — вышел скорее в мать, умную и добрую женщину, в юности петербургскую курсистку из купеческой семьи, племянницу Елисеевых.

Старый Нольде — впрочем, он только казался нам стариком в свои 45 лет — решительно повлиял тогда на всю будущую судьбу, и мою, и сына. Сыну он настойчиво посоветовал прежде всего «переменить» государственное право на международное и непременно, сверх подготовки к ученой кафедре, причислиться к министерству иностранных дел. «У нас в дипломаты, — говорил он, — идут только знатные и богатые молодые люди, желающие блистать в обществе, а не работать. Яркое тому доказательство — успех профессора Мартенса: не было у него ни связей, ни особых способностей, а какую

блистательную он сделал карьеру. Представляет теперь Россию на всех международных конференциях, все только потому, что у него одного были и терпение и охота корпеть над изучением международных договоров. Тебе легко будет, со временем, там и заменить, и затмить Мартенса» (так оно впоследствии и оказалось). «А кроме того, — добавил „старик“, — есть и ближайший практический расчет. Вскоре открывается новое учебное заведение: петербургский политехникум, детище министра финансов Витте. Витте практичен и позаботился о том, чтоб „его“ профессора были хорошо обставлены. Там предполагается, на экономическом отделении, и кафедра международного права, а серьезных кандидатов для ее замещения — ни одного. Мне говорил это будущий декан, профессор Посников. Приналяг, позаймись, поторопись с магистерским экзаменом — и можешь сразу выскочить на кафедру» (сбылось и это).

«А вам, юноша, — это уже было сказано мне, — очень советую — и, если хотите, помогу — причислиться, кроме университета, к канцелярии Комитета министров. Там вы увидите русское государственное право в его живом действии, в самом процессе его образования. Это будет для вас и как для ученого гораздо поучительнее любых книжных справок...»

Совет был слишком соблазнителен, чтобы ему не последовать. Но хотя, следуя ему, тогда я имел в виду только свою «науку», практически государственная служба постепенно увела меня далеко от университетской кафедры. Зато русское государственное право я не только увидел живым и воочию, но и принял деятельное участие в главных его преобразова-

ниях начала двадцатого века. Участие мое было, конечно (по молодости моих лет), негласным, но зато прямым — в ближайшем окружении людей, «делавших тогда историю»: Витте и Горемыкина, Столыпина и Кривошеина. Были и непосредственные, изредка, соприкосновения у меня с самим Государем Николаем II. Об этом-то правительственном Петербурге, столь недавнем, но уже невозвратном, а главное — мало кому знакомом в его подлинном былом воплощении, я и хочу рассказать, пока жив. Нас, живых обломков этого Петербурга, почти уже не осталось.

Комитет министров и его канцелярия помещались тогда в Мариинском дворце, у Синего моста. Дворец этот принадлежал ранее любимой дочери императора Николая I, красавице Марии Николаевне, ставшей женою герцога Лейхтенбергского. Величественный, но сумрачный и темный снаружи, дворец этот считается поздним и скорее заурядным произведением николаевской архитектуры, построен он был тогдашним казенным архитектором Штакеншнейдером, и я тщетно искал о нем каких-нибудь восторгов, или хотя бы подробностей, в «историях русского искусства». Зато внутри дворец блистал роскошной отделкой: мое воображение особенно пленяли чудесные двери с художественными инкрустациями и замечательно своеобразными дверными ручками. А фрески под потолком, в зале заседаний министров, были так эффектны, что великий князь Константин Константинович, президент Академии наук, поэт, знаток и любитель всех видов искусства, так подолгу засматривался на эти фрески — когда ему случалось присутствовать на заседаниях министров, что я мысленно спрашивал

себя: «Полно, да интересуется ли он речами министров?»

В этом-то здании, представлявшем резкий контраст с моей скромной студенческой комнатой, прошел, можно сказать, весь первый год моей службы: я проводил там не только дни, но и долгие вечера, иногда далеко за полночь, к немалому удивлению придворных служителей в белых чулках и золоченых ливреях и заведовавшего дворцом генерала Шевелева. Вышло так вот почему: приближался юбилейный год — столетие со дня учреждения при Александре I Комитета министров. И управляющий делами Комитета, статс-секретарь Анатолий Николаевич Куломзин, решил ознаменовать юбилей напечатанием подробной, не канцелярской, а настоящей, научно разработанной истории всего сделанного Комитетом за сто лет существования. Работа эта была поручена заправскому историку, профессору университета С. М. Середонину, и он занимался ею (ко времени моего поступления на службу) уже несколько лет. Но по мере приближения сроков выяснялось, что Середонин успеет закончить только историю царствования Александра I, Николая I и Александра II, т. е. до 1881 г. Как быть дальше? Надо сказать, что в позднейшие, еще свежие политические архивы даже Куломзин, при всей смелости и просвещенности его либерализма, все-таки побаивался пускать человека, правительству вовсе чуждого. А тут подвернулся в его распоряжение я, начинающий ученый; запросив обо мне юридический факультет петербургского университета и получив добрый отзыв, Куломзин отважился поручить очерк истории Комитета за годы царствования Александ-

ра III мне, приняв, разумеется, на себя всю личную ответственность и, главное, редактирование этого тома. Очерк же деятельности Комитета за самое последнее время, т. е. за годы царствования Николая II, был сведен к сокращенной, чисто фактической справочной части и поручен ближайшему помощнику Куломзина по канцелярии, камергеру Н. И. Вуичу, женатому, кстати, на дочери ультраправого сановника В. К. Плеве, государственного секретаря, а вскоре и министра внутренних дел. Так это и было утверждено Государем.

А. Н. Куломзин состоял уже много лет управляющим делами Комитета и статс-секретарем Его Величества, т. е. имел право личного доклада у Государя. Через несколько лет Государь назначил его председателем Государственного Совета и дал ему высшую орденскую ленту — Андрея Первозванного (ее носили только великие князья и очень мало кто из сановников). Председателем Комитета министров был тогда человек очень старый, бесцветный и равнодушный, Ив. Ник. Дурново; он без всякой ревности предоставлял Куломзину орудовать всею подготовкой к юбилею, как тому хотелось. Не возражал Дурново и в данном случае — против поручения ответственной работы новичку, мне. Выразил только пожелание, чтобы подлинные, прекрасно переплетенные по годам, тома подлинных старых «журналов» Комитета министров (рукописные, но очень четкие) отвозились не ко мне на дом, а в помещение нашей канцелярии. Здание Государственного архива снаружи напоминало мне, по архитектуре, небольшой, плотно набитый и наглухо закрытый сундучок, очень элегантный и «аппетитный», но внутри

там было слишком тесно, и там работать, как мне сказали, нельзя. При этом Дурново любезно — уже от себя — предложил Куломзину уступить мне для этой работы свой «председательский» служебный кабинет — по вечерам или даже и днем, в часы его отсутствия (а Дурново приезжал редко и ненадолго, только в дни заседаний; через полтора года он скончался).

Так и вышло, что я сразу «засел» в Мариинском дворце очень плотно. Это произошло для меня, 23-летнего юнца, тем более неожиданно, что при первом моем представлении начальству тот же Куломзин принял меня довольно холодно, хотя барон Нольде, рекомендуя ему меня, очевидно, не поскупился на похвалы. Куломзин быстро назначил мне прием, но когда я явился (во фраке и белом галстуке, как полагалось, хотя часы показывали всего только 5), между нами произошел следующий разговор:

«Вы готовитесь к ученой дороге, а хотите у нас служить. Это что же? Погоня за двумя зайцами? Ничего не выйдет. Поехали бы лучше в заграничные университеты доучиваться, как сделал мой племянник, князь Тенишев...»

Я хотел был возразить, что Тенишев несметно богат, а я беден, но сдержался и только сказал: «Я думал, что служба у вас будет очень полезна и для расширения моих знаний...»

«Ну, это уже ваше дело. А мое дело — предупредить вас, что никаких надежд на служебную карьеру здесь у вас быть не может. У меня причисленных к канцелярии хоть пруд пруди, хоть печи

ими топи, а платных должностей почти нет. Впрочем, какая именно у вас наука?»

При этом вопросе я сразу приободрился и, думая, что я стою уже на твердой почве, с гордостью объявил: «Русское государственное право».

Но реплика была ошеломляющей: «Ну, что же... Юриспруденция, формальное право — это не так уж важно... Вот если бы вы занимались историей экономического развития России — это было бы куда нам нужнее, да и вам полезнее. А впрочем, у вас отличные рекомендации — и я согласен зачислить вас в Сибирское отделение канцелярии».

Обескураженный, вечером того же дня я поехал, помню, к Нольде благодарить за хлопоты, но сказать, что я отказываюсь, после такого приема, от мысли служить, да еще «по сибирской части». Но мой покровитель расхохотался. «Куломзин — взбалмошный начальник, и резкость — в его манере. Но это прекрасный, умный человек и с хорошим сердцем, вы это увидите и оцените! А Сибирское отделение — самое боевое и видное, туда труднее всего попасть. Председатель Комитета Сибирской железной дороги — сам Государь; он лично проехал всю Сибирь на лошадях, возвращаясь — еще как Наследник — из Японии. Он очень интересуется Сибирью, ее колонизацией и всем, что для этого делается. Там будет вам легче всего выдвинуться на работе. Не делайте же глупостей и не отказывайтесь».

Я сдался; решил сделать еще один опыт. Поехал назавтра, теперь уже утром (т. е. в 11 часов) в Канцелярию и прошел прямо в «сибирское» отделение. Начальник отделения Петерсон, земляк Ку-

ломзина по Костроме и его любимец, протянул мне тоненькую книжку, бывшую у него в руках: «Это отчет Кривошеина, помощника начальника Переселенческого управления. Так как в Сибири нет выборного земства, то Переселенческое управление занимается всем, чем придется. Устроило и склады земледельческих орудий и льготно снабжает ими переселенцев; Кривошеин говорит подробно об этих складах; прочтите внимательно; не будет ли у вас вопросов, замечаний, возражений? Какие там у них неувязки, как денежная сторона? Впрочем, само по себе дело — прекрасное, мешать нельзя».

Брошюра оказалась очень интересной, я сразу в нее въелся. К вечеру были готовы и мои «замечания». Бегло их просмотрев и кое-что сгладив, Петерсон отправил их в государственную типографию в виде безымянной канцелярской «справки» к заседанию подготовительной комиссии при Комитете Сибирской железной дороги. Через несколько дней меня взяли и в заседание этой Комиссии. Куломзин председательствовал, а Кривошеин, слегка волнуясь, давал объяснения по всем вообще, обращенным к нему Комиссией, вопросам.

Так, по иронии судьбы, случилось, что я дебютировал на государственной службе критическими нападками, впрочем, вполне дружественными, на того самого Кривошеина, который вскоре стал моим многолетним министром и многолетним моим личным и политическим другом! Зато начальство — и Петерсон, и Куломзин — остались довольны. Поручили мне даже составить «журнал» этого заседания — уже для поднесения Государю, и очень удивились, что я «умею писать».

Первый маленький шаг был сделан. Но самым приятным для меня было то, что и люди и те дела, которыми они занимались, не только не заключали в себе ничего неприятного или «мракобесного», но мне положительно нравились.

Комитет министров занимал левое крыло Мариинского дворца. Весь центр и правое крыло были заняты Государственным Советом — высшим законодательным учреждением империи — и многолюдной при нем Государственной Канцелярией, в которой у меня довольно скоро завязались служебные связи. Государственная Канцелярия пополнялась главным образом людьми с громкими русскими фамилиями, с высшим образованием, а иногда уже и с учеными именами и с наследственной прочной культурностью. Я хорошо знал раньше среду русской либеральной интеллигенции: мой отец был видный провинциальный адвокат и писатель, да я и сам уже на школьной скамье сотрудничал не только в тифлисских газетах, но и в лучших петербургских журналах («Вестнике Европы», «Русском богатстве»). Знал я и профессорский мир, и артистический: сестры мои были студентками Академии художеств, в мастерской Репина, и в Петербурге я дружил с множеством молодых художников. Сам я был скрипачом и вечно вращался в среде литературно-артистической. Но те круги высшей бюрократии, с которыми я соприкоснулся впервые, сразу показались мне самыми культурными, самыми дисциплинированными и *наиболее европейскими* изо всего, что было тогда в России.

При этом убеждении я остаюсь и теперь.

В Государственной Канцелярии, кроме представителей русской знати, было уже немало и людей моего типа, т. е. прошедших высшую научную школу и приобретших в ней, кроме знаний, привычку быстро и объективно разбираться в сложных вопросах. Служилый Петербург, как бы предчувствуя предстоящую ему преобразовательную работу, уже запасался людьми: стягивал к себе, обирая профессуру, свежие умственные силы.

Канцелярия Комитета министров была, наоборот, малочисленной, и в ней я оказался «первой ласточкой» людей нового типа. Состав служащих, очень замкнутый, пополнялся людьми, не нуждавшимися ни в жаловании, ни в быстрой карьере. Приманки там были другие: 1) сравнительно легко было получить придворное звание и 2) так как все министры, проводившие свои дела через канцелярию, быстро становились знакомыми, то через несколько лет иным из канцелярии удавалось попадать в то или другое министерство уже на видное положение: так, из канцелярии вышел будущий министр финансов Шипов и министр иностранных дел Покровский. В петербургском обществе нас, чинов канцелярии Комитета, звали полушутя «штатскими гусарами». А в былые времена, как мне сказывал старший помощник Куломзина сенатор Брянчанинов, «никто даже не отваживался приходить на службу в Мариинский дворец пешком или приезжать туда на извозчике. Полагалось держать собственных лошадей. Это только теперь пошли нищие...»

Хотя я и был в этой среде «иного поля ягодой», но встретили меня мои сослуживцы скорее добро-

желательно. Тон в канцелярии задавала тогда сплоченная группа бывших питомцев Пушкинского лицея (официально он именовался Александровским Дипломатическим лицеем). Это было замечательное учебное заведение, с хорошими профессорами и отличными «пушкинскими» традициями; оно выпускало людей образованных, прекрасно воспитанных и с широкими взглядами. Правда, лицеисты склонны были держаться несколько особняком от нелицеистов, и в карьере старшие лицеисты всегда поддерживали младших по выпуску. Но я заметил вообще, что общность школьных традиций играла большую, если не главную роль в тогдашней петербургской службе. Эта школьная близость далеко перевешивала прежнее закулисное влияние знатных «тетушек»; она отступала только перед началом личной годности к службе, полезности оказываемых данным чиновником деловых услуг. Насколько я могу судить, впрочем, и за границей, в Европе или в Америке, такая общность школьных воспоминаний чрезвычайно помогает служебным карьерам.

Лицеистом я не был, но с лицеистами всегда как-то ладил. Среди них в канцелярии Комитета министров наиболее уверенно держался тогда Михаил Иванович Горемыкин, сын бывшего министра внутренних дел и будущего премьера. Он-то и подружился со мной раньше всех остальных: нас сближала общая страсть к поэзии и кое-какие светские общие увлечения. Когда он, через несколько лет, женился (на баронессе Черкасовой), то просил именно меня — через головы своих родственников — быть старшим шафером на его свадьбе. Дружба эта держалась, несмотря на наши позднейшие полити-

2 Зак. 3475

ческие расхождения, до самой смерти Горемыкина, уже в эмиграции.

Поручая мне работу по составлению «Исторического обзора», Куломзин прежде всего свел меня с профессором Середониным, работу которого я должен был продолжать, а Середонин показал мне то, что им было уже сделано раньше, и посоветовал мне усвоить несколько использованных уже самим приемов архивной работы. Кроме того, Куломзин дал мне, как он выразился, «нить Ариадны, чтобы вы не запутались в мелочах»: секретную записку о царствовании и делах Александра III, составленную бывшим министром финансов, а потом либеральным председателем Комитета министров, Н. Х. Бунге. С нею я и погрузился в море архивной работы.

Через год, к заказанному мне сроку, большой нарядно изданный том, в несколько сотен страниц, с моим именем и «под главной редакцией статс-секретаря Куломзина», был отпечатан и поднесен Государю, лично приехавшему в день юбилея, вместе со всеми великим князьями, к нам в Мариинский дворец.

Не все вошло в этот том из того, что я узнал о России за время работы: я был осторожен, и Куломзину не пришлось быть ни моим редактором, ни даже цензором, он ничего не изменил и не вычеркнул. Но одно вошло, и крепко вошло, в мою юную голову: насколько, в исторической перспективе, царствование императора Николая II было обусловлено обоими предыдущими царствованиями, столь резко различными: 1) преобразовательным, двинувшим Россию вперед, но и разволновавшим ее, временем императора Александра II и 2) власт-

но национальным, охранительным царствованием, «паузой» императора Александра III, паузой неизбежной, во многом спасительной, но во многом очень опасной, ибо затянулась она слишком надолго. После Царя-Освободителя и Царя-Миротворца нужен был Царь-Устроитель.

Александр II был убит революционерами; естественной первой задачей его преемника было подавить революцию; но эта задача была достигнута уже в первые 7—8 лет его царствования; между тем внутренняя «закупорка», остановка всех реформ продолжалась, и наиболее пострадала при этом самая важная и наименее повинная в гибели Царя-Освободителя реформа: крестьянская.

Забегая вперед, скажу, что позднее, уже в 1910 году, мне пришлось сопровождать премьера Столыпина в его поездке по Сибири. Во время этого путешествия — когда мы плыли на пароходе по Иртышу — я услышал из уст Столыпина, разговорившегося при мне с Кривошеиным, определенное подтверждение — справа! — этого моего юношеского, либерального вывода. «Царя Александра II убили, надо было обуздать революцию, пришлось остановить реформы, все это понятно, — говорил Столыпин. — Но успокоение было уже достигнуто в первые годы царствования Александра III. И когда в 1889 году министр граф Дмитрий Андреевич Толстой вводил в деревне земских начальников, сохраняя крестьянскую общину и юридическую обособленность крестьянского земельного строя — обособленность, граничившую с крестьянским бесправием, — вот тогда вместо земских начальников или вместе с ними (говорил Столыпин) надо было бы нам начать

нынешнюю работу по крестьянскому землеустройству: создать из местных людей нынешние землеустроительные комиссии. Вот если бы так случилось, — продолжал Столыпин, — тогда я был бы теперь спокоен за будущее России. А то мы потеряли, с устройством крестьян, 20 лет, драгоценных лет, и надо уже лихорадочным темпом наверстывать упущенное. Успеем ли наверстать? Да, если не помешает война».

Война, как мы знаем теперь, пришла уже через 4 года. А Столыпин был убит через год после этого разговора.

Но из-за нашего проклятого запоздания с устройством крестьян на основе мелкой земельной собственности — что и было конечной целью реформы Александра II — произошли два основных парадокса русской предреволюционной эпохи, так поражавшие иностранцев: 1) в России, при ее земельных просторах и редком населении, крестьянство всегда жаловалось на малоземелье и 2) крестьянство, которое везде в других странах обычно считается устоем порядка, элементом консервативным, — в России было пороховым погребом, так как оно легко поддавалось революционной пропаганде.

Прав поэтому Троцкий в своей «Истории русской революции», когда он подтверждает (подтверждение Столыпину, идущее слева!), что если бы русская буржуазия сумела разрешить земельный вопрос, то ни за что революционный пролетариат не пришел бы к власти в России в 1917 году!

Недаром и правый политический деятель В. И. Гурко, сын фельдмаршала, знаток земельного вопроса, всегда отстаивавший необходимость для

России не только мелких, но и крупных сельских хозяйств как «фабрик зерна», работающих на города и на вывоз, признавался тем не менее в своей книге, вышедшей в самом начале двадцатого века: «Когда в России говорят “аграрный вопрос”, эхо отвечает: “крестьянские беспорядки”».

С русским земельным вопросом, узловым вопросом всей нашей жизни, я очень скоро связал свою государственную службу и об этом расскажу кое-что далее. Но хронологически моей «крестьянской» работе (около Витте и потом около Столыпина) предшествовали другие служебные поручения, такие характерные для начинавшихся переломных лет царствования Николая II, для новых веяний, возвращавших Россию от паузы Александра III к творчеству Александра II... Никакой критики на политику императора Александра III и я в своей юбилейной истории, понятно, не наводил, был осторожен; в моей книге были четко сгруппированы и показаны только события восьмидесятых годов, во многом впервые извлеченные из архивов.

Куломзин остался доволен моей «историей» и находил, что она «читается легче, чем середонинские тома». Государь, вряд ли ее читавший, но наверное перелиставший (перед своим отцом он благоговел), тоже вынес одобрительное впечатление; так, по крайней мере, меня любезно уверял близкий к нему человек, командующий главной императорской квартирой, генерал граф А. В. Олсуфьев, обворожительный старый чудак — с серьгой в ухе. К Олсуфьеву меня ввел друг моих студенческих лет художник П. И. Нерадовский (впоследствии директор петербургского Художественного музея имени

Александра III). Нерадовский и его сестра Леля, подруга моей сестры Шуры, одно время даже снимали вместе с нами, вчетвером, одну маленькую квартирку на Васильевском острове, поближе к университету и Академии художеств. Нерадовские были сироты, и Олсуфьевы были их опекунами, сердечно о них заботившимися, вследствие чего олсуфьевское отношение и ко мне оказалось дружески покровительственным, чуть ли не родственным.

Прочное основание моей карьеры было, таким образом, положено уже тогда, в первый год службы. Но ближайшие результаты для меня были, конечно, неизбежно скромными, и для моей молодой гордости они показались чуть ли не унизительными. Меня тогда же произвели в следующий чин — титулярного советника — и дали, обгоняя всех других причисленных, первое штатное место в канцелярии: письмоводителя, с окладом полторы тысячи рублей в год. С высот моих расширившихся «исторических» горизонтов все это показалось мне таким мизерным, что я в душе снова решил было плюнуть на службу («Меня даже не показали Государю на юбилее... Вернусь к науке, туда, где меня ценили»).

Экземпляр своей книги («Исторический обзор деятельности Комитета министров», том 4-й, «Царствование императора Александра III, 1881—1894») я отвез своему профессору государственного права И. А. Ивановскому. Прием был любезный, а через несколько недель Ивановский сообщил мне, что моя работа («по первоисточникам») произвела хорошее впечатление на весь факультет, что факультет склонен даже зачесть ее мне как магистерскую диссертацию. «Так что сдавайте поскорее магистерский

экзамен — вы ведь были к нему почти готовы уже год назад — и легко получите ученую степень». Подготовка к экзамену была у меня, и вправду, сильно подвинута потому, что я еще на третьем курсе университета, после получения золотой медали в 1899 году, остался на курсе, потерял лишний год, и Ивановский тогда уже стал меня готовить к ответам на возможные темы, обычно ставившиеся на экзамене магистрантам. Остался же я на лишний год потому, что 1899 год был отмечен в Петербурге рядом студенческих манифестаций, прочем полиция, разгоняя толпы студентов, пускала в ход нагайки. Ни в каких манифестациях я не участвовал, им не сочувствовал, но нагайки студентам императорского университета (в форме!) казались мне оскорбительными, и я, повинуясь общестуденческому настроению, не держал очередных экзаменов весной, сейчас же после нагаек, а подал прошение об отложении этих экзаменов (очень легких на 3-м курсе) на осень. Профессора обнадеживали, что разрешение держать осенью будет легко дано, и отказ министерства, связанный с решением оставить всех нас на второй год, был резким и неожиданным.

Что не я один считал тогда нагайки неоправданными, показывает следующий случай. Когда студентов на Невском проспекте, после манифестации у Казанского собора, разгоняли, т. е. били нагайками, проходивший мимо свитский генерал, очень близкий к Государю, начальник Главного управления уделов, член Государственного Совета князь Л. Д. Вяземский так был возмущен, что высказал свое возмущение полицейскому офицеру. Правда, за это, по жалобе градоначальника Клейгельса, Вя-

земский был на короткое время выслан из Петербурга в свое имение, но общественное мнение столицы было тогда не за Клейгельса.

В самих правительственных кругах тоже было ощущение неловкости. Студенческие беспорядки, начавшиеся в Петербурге 8 февраля, в день университетского праздника, быстро перекинулись в другие города и в другие учебные заведения столицы. И уже через неделю, 14 февраля, Государь назначил генерал-адъютанта Ванновского, бывшего военного министра своего отца, старого и тактичного человека, расследовать причины студенческих волнений. Ванновский занял примирительную позицию, лично опросил многих студентов и быстро приобрел популярность. Но министр народного просвещения Боголепов, человек, не имевший ни достаточного авторитета, ни опыта, продолжал делать ошибки. Одной из худших была придуманная им мера: сдавать исключенных за беспорядки студентов в солдаты, привлекая их немедленно к отбыванию воинской повинности. Через два года один из таких исключенных, Карпович, выстрелом из револьвера убил Боголепова на приеме у него в министерстве. Но так как преемником Боголепова был назначен Ванновский, то понемногу университетская жизнь вошла в спокойную колею (а Карпович бежал через несколько лет с каторги).

Убедившись из разговора с профессором Ивановским, что петербургский университет не только не считает составление мною официальной истории изменой науке, а, напротив, хотел бы сохранить со мною связь, я тогда настроился на полное возвращение к науке и, помню, в тот же день вытащил

из сундука свои ученические тетрадки с русскими моими конспектами немецких фолиантов юридической премудрости (Лабанд, Еллинек, Блунчли).

Но у А. Н. Куломзина оказались на меня другие виды.

С окончанием юбилейных торжеств возврат к будничной работе его больше не привлекал, и он решил выдвинуть свою кандидатуру в министры, а именно — в министры народного просвещения. Ясно было, что престарелый Ванновский долго не проживет и, во всяком случае, долго министром не останется. И Куломзин, горячий патриот и либерал по убеждениям (он и начал свою карьеру женитьбой на дочери либерального министра юстиции при Александре II Замятнина), решил связать свое назначение с получением согласия Государя на быстрый подъем в России начального народного образования: подать Государю записку о введении у нас всеобщего обучения.

Озаглавил он свою записку так: «Доступность начальной школы в России». А писать ее поручил мне, откомандировав в мое распоряжение для цифровых расчетов еще трех сослуживцев по канцелярии. «Во многих губернских земствах, — сказал мне Куломзин, — такие проекты уже составлены: сделан и подсчет, сколько денег и времени, и новых учителей, и новых школьных зданий на это потребуется. Соберите все эти земские проекты, проверьте их, сцементируйте и изготовьте печатный проект введения общедоступной начальной школы по всей России так, как если бы вы изготовляли уже окончательное постановление об этом Комитета министров. Чтобы было ясно: сколько именно денег и

времени потребуется для практического осуществления этого великого дела».

Труд был большой, но меня увлек. Записка, отпечатанная в виде небольшой книжки, через несколько месяцев была изготовлена и Куломзиным представлена. Она лежала на столе у Государя, на видном месте, довольно долго, и я льщу себя надеждой, что она все-таки повлияла на решение Государя, хотя и позднее — уже в думский период, горячо взяться за народную школу. А в думских и земских кругах записка Куломзина о народном образовании (он ее потом рассылал) стала известной и пользовалась почетом: так говорили мне потом видные члены Думы. Во всяком случае, к концу последнего царствования свыше 90% детей уже обучалось в народных школах.

Но Куломзин тогда, в 1903 году, назначен министром не был, хотя иные, близкие ко Двору люди его уже поздравляли, видя живой интерес Государя к записке Куломзина. Министром народного просвещения был назначен тогда — неведомыми мне путями — Зенгер, человек порядочный и серьезный, но стоявший очень далеко вообще от русской жизни. Сам Зенгер увлекался классицизмом, древними языками; в Петербурге говорили, что он прекрасно перевел *стихами* на латинский язык пушкинского «Евгения Онегина». Огромный, но до чего бессмысленный труд: с живого языка переводить на мертвый — для кого?!

Лично я был скорее доволен тогда неуспехом Куломзина, так как боялся, что он в случае назначения потащит меня за собой в министерство просвещения — на должность, конечно, второстепен-

ную (в 24 года!) — и это меня уже никак не прельщало.

Но вернуться к науке мне все-таки не удалось, и я, по совести, никогда не жалел в России о том, что не стал «писаться» профессором. Только в Европе, уже в эмиграции, я понял, какую этот профессорский титул, мне уже просившийся в руки, принес бы мне здесь и рекламу и пользу. Но меня ожидало другое — и гораздо более меня привлекавшее.

Вырос я, провел детство, отрочество и первые годы юности на Кавказе (уже как петербургский студент я проводил немало месяцев дома, в Тифлисе, или в небольшом имении моего отца в Горийском уезде). Там русская власть переживала период «затмения». Годы вооруженной борьбы с горцами Кавказа и первоначальное управление этим чудесным краем (находилось оно в руках людей с широкими взглядами эпохи Александра II: Воронцова, князя Барятинского, великого князя Михаила Николаевича, брата Государя) сменилось тусклыми буднями: чиновники, приезжавшие служить на Кавказ, отбирались не из лучших. Горцы Кавказа, как мне рассказывал видный чеченец Чермоев, постоянно спрашивали: «Где же теперь те русские, которые нас покорили? Те были замечательные люди, а эти, теперешние — совсем другие». Последний же главноначальствующий на Кавказе, князь Г. С. Голицын, затеял поскорее обрусить край, потеснив туземцев; он внес в управление узость и самодурство, со всеми ссорился и, как острили в Тифлисе люди судейские, управлял краем в состоянии запальчивости и раздражения, но «без заранее обдуманного намерения». Все изменилось к лучшему с назначе-

нием его преемника, графа И. И. Воронцова-Дашкова, бывшего раньше министром Двора при Александре III и получившего теперь звание Наместника Его Императорского Величества на Кавказе.

Граф Воронцов, красавец и рыцарь, отличался нравственным благородством и широтою политических взглядов. Мне сказывали люди знающие («злейший» петербуржец А. А. Половцев, свой человек для всей русской аристократии, богач и дипломат, товарищ министра иностранных дел), что именно Воронцова изобразил Толстой в «Анне Карениной» под именем Вронского, как себя — под именем Левина. Но если это так, в чем я не могу сомневаться, то Толстой был крайне несправедлив к Воронцову: у Вронского в романе нет и в помине того патриотизма и той жизненной мудрости, какую проявил Воронцов, правда, уже на склоне лет, умудренный знанием людей и неисчерпаемым психологическим опытом.

Итак, кавказским наместником стал в 1903 году старый граф Воронцов-Дашков, а представителем Воронцова в Петербурге, в Комитете министров, в Государственном Совете (впоследствии и в Государственной Думе) был сделан не кто иной, как мой давний покровитель барон Нольде, одновременно сменивший Куломзина и на посту управляющего делами Комитета министров. Куломзин же стал членом Государственного Совета.

Своим директором канцелярии Воронцов пригласил в Тифлис Петерсона, хорошо меня уже знавшего по канцелярии Комитета министров. В составе же своей петербургской канцелярии Нольде, по соглашению с Петерсоном, образовал особое кавказское

отделение, где вскоре сосредоточилась вся переписка Воронцова с министерствами и представление важнейших кавказских дел на решение Государя. Это кавказское отделение поручили всецело мне. Помощником к себе я устроил моего товарища по университету князя З. Д. Авалова, автора книги «Присоединение Грузии к России», впоследствии видного грузинского политического деятеля. Скажу в скобках, что чиновником Авалов, человек одаренный, оказался небрежным и до того ленивым, что помощи от него не было, а сослуживцы встретили его недружелюбно, и часть их досады была перенесена на меня. Но это были уже мелочи жизни, а самая деятельность стала давать мне полное удовлетворение. Дела проходили серьезные. Воронцов сразу вернул армянской церкви несправедливо отобранное у нее его предшественником, князем Г. С. Голицыным, церковное имущество. Мера эта тем более ударила по армянам, всегда верным русской власти на Кавказе, что армянский народ был, волею великих держав, разрезан на две части — между Россией и Турцией, и единственной носительницей армянского единства была церковь, возглавлявшаяся, в Эчмиадзине, католикосом всех армян — и турецких и российских.

Следующим шагом Воронцова было упразднение на Кавказе последних остатков туземного крепостного права. Вообще Воронцов явился в крае русским вельможей, который в полном созвучии с Государем вел там широкую, вполне либеральную, но и подлинно имперскую политику. Он поднял на прежнюю высоту покорившее Кавказ при Александре II русское имя.

Прекрасным шагом власти при Воронцове было еще орошение бесплодной Муганской степи, быстро ставшей из недавней пустыни лучшим районом русского заселения и русского хлопководства.

«Господи, сколько еще полезного — и совершенно бесспорного — может еще сделать царская власть в России», — думалось мне. Особенно усилилось это ощущение с назначением, ранней осенью 1903 года, С. Ю. Витте председателем Комитета министров на место скончавшегося бездеятельного И. Н. Дурново.

Политически это назначение было для Витте опалой. Государю, увлекавшемуся большой «азиатской» политикой и только что учредившему Особый Комитет по делам Дальнего Востока, наскучило вечное сопротивление Витте его дальневосточным планам. Витте же, побывавший сам на Дальнем Востоке и имевший там отличную финансовую агентуру, предвидел и боялся, что планы эти неизбежно приведут к войне с Японией. Как министр финансов, он держал в руках большую силу и влияние. Комитет же министров, при Дурново, сошел почти на нет. Определенной компетенции у него не было, так как все министры сохраняли отдельный доклад у Государя и вносили на разрешение Комитета только то, что сами хотели. Но при Витте все завертелось иначе. Комитет ожил. Множество дел, и крупных и мелких, стали в него поступать, и все эти дела оказывались при Витте спешными.

Канцелярия Комитета всегда была малочисленной, а подлинное ее рабочее ядро было еще теснее, так как и там большинство чиновников только числилось, а дела поручались только немногим испы-

танным работникам, от кого не ждали, не боялись недосмотров и промахов, так как все прошедшее через Комитет немедленно публиковалось и всякие поправки вдогонку становились невозможными или, во всяком случае, были скандальными.

И вот тут, в этой суровой и беспокойной школе Комитета министров, у меня скоро сложилось основное политическое впечатление: после всех столкновений и бурь в совещании министров, когда наши тщательно составленные доклады обычно превращались в Высочайшие повеления, они сразу же начинали жить, становились частицею русской жизни, русской были. Но отвергнутые Государем, точно такие же, ничем не хуже, министерские доклады оставались лежать в ящиках столов мертвой буквой. Государь ставил на всем сияющую, животворную точку. Он благословлял или не благословлял своим именем все в России к жизни и действию (чудесное старинное выражение «быть по сему» — ainsi soit~il!). По русской народной психологии, только царская власть, кто бы ей ни помогал, Дума или чиновники, была *источником* права. В той, царской России имя Государя было поистине Архимедовым рычагом власти и всех перемен к лучшему или к худшему. *Не он опирался на государственные учреждения, а они им держались.*

Поэтому впоследствии, когда Государь был свергнут, вынужденно отрекся, — мгновенно был как бы выключен электрический ток, и вся Россия погрузилась во тьму кромешную.

Оставалось принуждение, сила, переходившая из рук в руки, оставался властный или безвластный приказ, но не стало власти как источника права.

Ни Временное правительство, ни Учредительное собрание, ни, наконец, совдеп, одолевший всех своим грубым зажимом, никто первое время не обладал в сознании народа исторической «благодатью» творить русское право.

Но я забегаю вперед. До революции было тогда еще далеко, и в эти начальные годы службы моей в Мариинском дворце я только раз ощутил своей кожей, а не только рассудком, ее возможность и приближение. В общем, я жил в 1901—1904 годах в атмосфере, согретой радостным ощущением того, что я участвую в чем-то для России хорошем, у чего есть будущее, и будущее полезное.

Омрачилась за эти годы моя душа только один раз. В день 2 августа 1902 года, войдя в подъезд Комитета министров, я неожиданно увидел там смертельно раненного, умирающего министра внутренних дел Сипягина и бледного, как полотно, убийцу Балмашева в военном мундире. Одетый в адъютантскую форму, он подъехал в карете к Мариинскому дворцу и, войдя в швейцарскую, просил вызвать к нему министра, чтобы вручить ему «в собственные руки» спешный пакет, будто бы от московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Ничего не подозревая, Сипягин спустился в швейцарскую и был сражен револьверною пулей. Балмашев сказал только: «Попомнит он свои циркуляры». Я вошел в первые же минуты общего смятения (писал тогда еще историю Комитета министров и не знал, что прихожу как раз в день и час заседания Комитета министров, да еще такого трагического!). В этот день на моих глазах в русскую жизнь внезапно просунулось из тьмы

что-то жестокое и зловеще непримиримое — то самое, что я иногда уже и раньше, но в меньшей степени, ощущал на студенческих сходках: проснулась «она», русская революция! Сипягин был очень консервативным министром, а назначенный ему преемником Плеве решил быть еще правее. Судить Балмашева Плеве поручил военному суду, был вынесен смертный приговор. Балмашев отказался подать просьбу о помиловании и был казнен. Но Плеве через два года был сам убит революционной бомбой. Путь к примирению власти с интеллигенцией лежал не сквозь взаимные убийства, а сквозь реформы. К счастью, правящий Петербург становился уже на этот реформаторский путь (к несчастью, *п о з д н о!*).

Имя графа Воронцова-Дашкова должно быть с благодарностью названо в самом начале этого реформаторского пути. И главною, историческою заслугою графа было даже не все то благодательное, что он сделал на Кавказе, а то, что он, как министр Александра III, имевший непререкаемый авторитет в глазах его сына, Николая II, первый сказал молодому царю, что надо изменить крестьянскую политику его отца, отказаться от сохранения крестьянской общины и позаботиться о мелкой крестьянской собственности.

За общину всегда стояли русские интеллигенты-революционеры, увлекавшиеся социализмом, — и это было понятно. Но почему ее оберегали, с нелегкой руки Победоносцева, русские консерваторы — это можно понять и объяснить только как слепое пристрастие к старому, косное желание сохранять все, что уже было в России, без внимания к тому,

было ли оно вредно или полезно. Интересы России и прямой интерес русской власти требовали, наоборот, спешного развязывания узлов крестьянского бесправия и общины. В России надо было поднимать сельскохозяйственную культуру, увеличивать урожайность земель. Земельный же коммунизм в деревне плодил только всеобщую, равную, но зато и явную *нищету*. В крестьянстве русском вечно жил, как в подполье, затаенный бунт нищих, бунт голодных, вечно зарившихся на чужие, помещичьи земли. И замечательно, что в западной полосе России, где не было общины, а подворное владение, урожайность земель была выше и крестьянские голодовки — гораздо реже, хотя самые земли по качеству были там хуже, чем на востоке России. Об этом при самом восшествии на престол Николая II граф Воронцов, сам сельский хозяин, подал Государю докладную записку. Но практически сдвинуть Государя на этот новый путь суждено было другому министру Александра III, Витте, — правда, при деятельной помощи и под прямым влиянием Воронцова.

1951

ВИТТЕ

К несчастью для своей репутации, Витте оставил свои мемуары, богатейший и в общем довольно правдивый материал о русском прошлом; но вместе с тем они обнажают его неискоренимую нравственную *вульгарность*: дышат личной злобой против Государя, уволившего Витте от власти, и ненавистью к Столыпину, успешно его заменившему. Для людей революционного лагеря Витте остался все же только «царским временщиком», не больше, — следовательно, врагом. Людей же, относящихся к нашему прошлому спокойно или даже положительно, эти черты мемуаров Витте отталкивают. Поэтому в суждениях о нем, появившихся до сих пор в русской эмигрантской печати, преобладала хула. Даже бесспорные заслуги Витте перед родиной замалчиваются или даже вовсе отвергаются. Так это и в единственной напечатанной до сих пор *исторической* книге С. С. Ольденбурга о царствовании императора Николая II. Пора быть справедливым.

Ничто ни в происхождении Витте, ни в его биографии не обязывало его быть вульгарным и несдержанным. Отец его был видный провинциальный чиновник, из обрусевших немцев: директор департамента при кавказском наместнике, великом князе. Его мать — Фаддеева — из хорошей дворянской семьи, сестра известного генерала. А бабушка по материнской линии — урожденная княжна Долго-

рукая (одно из лучших имен старой знати). Сам Витте получил высшее образование, сделал блистательную карьеру и часто вращался в кругах русской и международной элиты. А между тем никаких черт светских, дворянских, или немецких, чиновничьих, интеллигентских в нем нельзя было отыскать и признака. Самородок. Мужиковатый гигант, завоеватель, самодержавный делец, Витте азартно ломил свое, сокрушал все преграды данной ему от Бога силищей. Если же препятствия казались ему пока непреодолимыми, он, с чисто мужицкой хитростью, любыми изворотами их обходил. Он преклонялся перед наукой, но сам был на редкость невежественным человеком, по крайней мере в области наук общественных: права, истории, литературы, политики (даже в экономике он брал больше чутьем). Жил — сегодняшним днем, умело маневрируя среди очередных затруднений. Не имел никаких политических убеждений. Зато был — гениальный, властный практик-самоучка, с огромным даром осуществлять, добиваться, приводить в жизнь все то, что он своим исключительным жизненным чутьем и даром администратора схватывал как нужное сейчас для России.

Без всякой внутренней борьбы перешел Витте с реакционных взглядов к манифесту 17 октября. Министр Александра III, друживший с Победоносцевым, он еще недавно, в 1899 году, печатно восстал принципиально против земских выборных учреждений, будто бы несовместимых с царским самодержавием. А уже в книге «Самодержавие и земство», написанной для Витте А. И. Путиловым в 1905 году, он же представил к подписи Государя ма-

нифест, вводивший у нас народное представительство.

Теории и принципы были не его областью. Но жизнь он видел и понимал как никто. Он чувствовал, что дело шло к Государственной Думе. А тогда уже, по свойству своей натуры, он не мог допустить, чтобы кто-нибудь другой, а не он, связал с русской конституцией свое имя.

Витте окончил математический факультет в Одессе и думал сначала готовиться к кафедре чистой математики. Но по настояниям близких держал еще выпускные экзамены при Институте инженеров путей сообщения и стал служить по железным дорогам. Случай показал его в выгодном свете Александру III. Во время царских поездок по России одна из них ознаменовалась потом крушением поезда (в Борках). Витте, как начальник одного из участков железной дороги, обратил уже внимание на то, что царский поезд, бывший много тяжелее обычных, шел со скоростью, много превышавшей обычную. Со свойственной ему решительностью он заявил, что в пределах вверенного ему участка не может допустить такой скорости. А когда стал управляющим на юго-западных дорогах, то просто распорядился об уменьшении скорости царского поезда. Это навлекло на него личное резкое неудовольствие Александра III и бойкот со стороны царской свиты. Министр путей сообщения, сопровождавший Государя, вызвал Витте в царский вагон и указал ему, что на других дорогах поезд идет быстрее. Тогда Витте, не смущаясь царским присутствием, ответил: «Другие пусть делают, что хотят, а я ломать головы Государю не стану». Когда вслед за

тем произошло действительное крушение поезда, Александр III вспомнил о беспокойном путейце и сначала назначил его членом комиссии, расследовавшей причины крушения, а вскоре предложил ему, уже на государственной службе, место директора департамента железнодорожных дел. Витте сначала ответил, что на частной службе он зарабатывал 50 тысяч рублей в год, а казенное жалованье будет всего 8 тысяч. Государь сказал на это, что он будет выдавать ему еще 8 тысяч из своего царского кармана и вообще имеет на него свои виды. Витте, честолюбец по природе, не устоял. Окончательно его подкупила в пользу Государя еще и та мелочь, что на Витте, по гоголевскому словцу, «чинишко был дрянь» (титулярный советник). Назначая его на генеральское место, Александр III, вопреки всем правилам, махнул Витте прямо в генералы: произвел в действительные статские советники.

В Петербурге Витте сразу выделился своей практичностью: знанием людей, вещей и цен. В русской бюрократии было всегда немало лоска, но практического уменья зацеплять колесами служебной машины деловую жизнь, заставлять что-то грубое, сырое и жизненное служить целям, намеченным властью, было всего меньше. У Витте обнаружилось именно такое уменье, а кроме того дар подбирать себе полезных сотрудников. И хотя неисправимые в своем зубоскальстве петербуржцы перекрестили его из Сергея Юльевича в «Сергея Жульевича» (что было зло и совершенно несправедливо), но репутации доки и ловкача за ним не отрицал никто.

Когда в Петербурге освободилось место министра путей сообщения, то вначале, как мне рассказывал

барон Нольде, никто еще и не думал о Витте как о министре. Александр III по очереди вызывал несколько «естественных» кандидатов и предварительно расспрашивал их, что бы они предприняли в случае назначения. Первого вызванного Государь под конец, уже расставаясь с ним, спросил как о вещи второстепенной: «Ну, а кого бы вы пригласили к себе в товарищи министра?» Ответ был: «Витте. Он так практичен и так умеет все быстро налаживать». Тогда Государь при вызове второго и третьего кандидатов поставил им тот же вопрос: «А кого метите вы в товарищи?» И когда второй и третий назвали также С. Ю. Витте, Государь, уже не спрашивая больше никого, прямо сам назначил Витте — министром.

Получив так право личного доклада у Государя, Витте еще больше укрепился в царском доверии. И когда уходил министр финансов Вышнеградский, больной, да еще заподозренный в получении полумиллионной взятки у Ротшильда, Государь перевел Витте из министерства путей сообщения на гораздо более видный пост министра финансов (Витте уже раньше подсказал Вышнеградскому удачный пересмотр железнодорожных тарифов). Вышнеградский, конечно, никакой взятки у Ротшильда не брал и вообще был прекрасным министром. Судьба только наказала его за его обычное недоверие к людям. Когда при нем хвалили чью-либо честность, Вышнеградский сдвигал очки на лоб и задумчиво спрашивал: «*До какой суммы* он честен?»

Витте, как министр финансов, оказался удачливым. Он не только довел до конца начатое Вышнеградским (уже при Николае II) укрепление твердого

курса русского рубля — введением у нас золотой валюты, но проявил и редкую изобретательность вообще в доставлении для казны денег. При самодержавно-бюрократическом строе, да еще при политике, неблагоприятной евреям, финансовым воротилам Запада, он умудрялся широко привлекать в Россию иностранные капиталы — сама Россия была тогда еще слишком бедна, чтобы разворачивать промышленность так широко, как этого добивался Витте.

Русские финансы, налаженные Витте, отлично проявили себя и в дальнейшем, несмотря ни на какие испытания. Его преемнику, В. Н. Коковцову, досталось наследство уже благоустроенное, и поддерживать его на высоте было не так уж трудно. И Витте насмешливо любил назвать Коковцова, конечно за глаза, не иначе как «кухаркой за повара».

Барка, следующего затем министра, Витте расценивал выше. Когда-то он, будучи министром, посылал Барка, еще совсем молодого чиновника, в Германию доучиваться финансовой технике в банке Мендельсона и считал, что эта школа пошла Барку впрок. Помню сказанную при мне фразу Витте (у себя дома), кажется, по поводу назначения Барка только еще управляющим петербургской конторой Государственного Совета (место, влиятельное на бирже). Когда кто-то сказал: «Как — выдвигают Барка? Разве он так умен?» Реплика Витте была: «Деньги-то платят разве за ум? Платят за нюх только».

В течение того десятилетия, что Витте стоял у русских финансов, он был не только государственным казначеем, но и министром народного хозяй-

ства. Влияние его сказывалось во многих областях, он немало потрудился над индустриализацией России, над развитием русской промышленности и железнодорожной сети, вообще над нашей европеизацией.

Такова была основная традиция русской монархии, со времен еще Петра Великого. Пушкин верно заметил, что «правительство есть единственный европейский элемент России». Витте, как и сменивший его Столыпин, с блеском служил этой традиции.

Несмотря на то, что Витте был инициатором постройки сибирской железной дороги, он всегда боролся с тенденцией преувеличивать нашу «азиатскую программу», считал, что основной наш путь — европейский, общекультурный. Главную же русскую беду он видел в том, что наше крестьянство продолжало жить вне права, вне свободы, вне собственности, замкнутой, обособленной жизнью.

Витте, как министр и как человек, стоял далеко от русской деревни, его постоянно корили этим. Он на своем энергическом языке возражал: «Это-то верно, но я много лет возился со сложной машиной — финансами, и, какой бы я ни был дурак, нельзя было не понять, что без топлива никакая машина не пойдет. Топливо — это экономическое благосостояние населения, в России на девять десятых мужицкого. А мужики живут бедно, потому что живут без права собственности, в средневековой общине». За пять лет до своего ухода из министерства финансов Витте подавал в 1898 году отдельную записку Государю о крестьянском бесправии, но тогда он не получил никакого ответа. Только в 1902 году,

когда министром внутренних дел был его приятель Сипягин, Витте добился от Государя согласия на учреждение под его, Витте, председательством, Особого Совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. И первым человеком, кого Витте ввел в это свое Совещание, ввел как главную свою опору, был граф Воронцов-Дашков, сторонник личной собственности крестьян на землю.

Душой сельскохозяйственного Совещания был, конечно, сам Витте — он не мог иначе работать. Главной же деловой силой Совещания стал чиновник особых поручений при нем А. А. Риттих, впоследствии главный воротила столыпинской земельной реформы, а позднее и сам министр земледелия. Желая подвести широкую общественную базу под свои выводы, Витте, с помощью Сипягина, прежде всего организовал широкий опрос местных людей в губернских и уездных комитетах по крестьянскому делу. Сводкой всех комитетских трудов и заведовал Риттих, привлекший к этому делу, в числе других, и меня.

Риттих, хорошо меня знавший (он был впоследствии главным шафером на моей свадьбе), откровенно рассказывал мне о своих докладах у Витте, докладах, вылившихся в конце концов в новую записку Витте по крестьянскому делу. Риттих рассказывал, между прочим, и о громадном впечатлении, произведенном тогда на Витте тем, что вынес из своих поездок по деревням русским датчанин Кофод, молочный брат императрицы Марии Федоровны, датской принцессы (мать Кофода была ее кормилицей). Этот Кофод, самоучкой научившийся русскому языку, рассказывал главным образом о

страстной тяге самих крестьян почти по всей России к выделу из общины и к сведению своих разрозненных земельных полос в один кусок, в один отруб, так, чтобы вся земля была у хозяина «в одном глазу», по характерному мужицкому выражению. Это послужило впоследствии поводом к инсинуациям врагов реформы, будто Витте, не знавший сельской России, затеял перестроить ее «по датскому образцу». Но совершенно то же, что и заезжий Кофод, сказали, в значительном большинстве своем, местные *русские* комитеты!

Витте инстинктом схватывал в любом вопросе его жизненную сущность и почти всегда верно, хотя иногда по-обезьяньи грубо и очень часто безграмотно. А затем уже он быстро с этой сутью сживался и невольно начинал отождествлять *себя самого* с этим своем пониманием государственного вопроса. Противоположная точка зрения тоже немедленно срасталась в его представлении с личностью очередного противника (будь то Плеве или Горчаков, Трепов или Куропаткин). В свои принципиальные политические споры он немедленно вносил личную страстность и безудержную свою властность (а часто и бесцеремонность приемов). Отчасти поэтому и его мемуары кажутся сплошным отталкивающим желчным сведением личных счетов с подлинными или воображаемыми супостатами. А между тем там немало жизненной правды! Но как все это кажется уже далеко...

Крестьянским хозяйствам нужна их личная собственность на землю, без этого не может быть ни кредита, ни прочных сельскохозяйственных улучшений, ни вообще здорового государственного

будущего России. Вот что сразу понял Витте в земельном вопросе. Он не уставал повторять Риттиху: «Да ведь это черт знает как важно!» Говорил: «Кому нужна была община? Только властям для удобства управления и денежных сборов. Понятно, что пастуху проще гонять целое стадо, нежели возиться с каждой овцой отдельно. Но ведь тут не стадо, а народ, люди! Люди же, рано или поздно, во всех странах захотят жить по-человечески».

Александр II освободил крестьян «с землею», но отводить тогда же, на всем пространстве России, отдельные участки каждому домохозяину в собственность было бы задачей слишком долгой, да по отсутствию землемеров тогда неосуществимой. Земли, для начала, отводились в надел целым селениям, чаще всего в общинное владение. Это была, так сказать, еще черновая работа. Но Александр II тогда уже предвидел, что идти надо к мелкой личной собственности крестьян на землю. Его реформа сохраняла за крестьянами право и возможность выдела из общины, но крестьянская политика Александра III сводила эту возможность на нет. И попытка Витте сломать эту привычную практику ему не удалась.

Живя в общине, где земли время от времени переделялись на прибыльные души, т. е. на прирост населения, крестьянство легко поддавалось революционной пропаганде, мечтам о «черном переделе» всех земель, в том числе и помещичьих. В 1902 году, в самый год открытия виттевского Совещания, в нескольких губерниях произошли крестьянские беспорядки, захваты соседних помещичьих владе-

ний. Крестьян тогда усмирили и высекли, но Витте окончательно убедился в невозможности медлить с земельным вопросом, в неотложности мер, направленных к тому, чтобы использовать и поощрить проснувшееся в мужиках стремление лучше устроиться на той земле, которая уже им принадлежит. А для этого прежде всего надо было выделиться из общинного хаоса.

Виттевское Совещание, проработав два с половиной года, было закрыто (происками правых) весной 1905 года, неожиданно для самого Витте, и не принесло прямых результатов. Но оно успело оставить ценнейшие материалы, которые легли всецело в основу столыпинской земельной реформы 1907 года. И столыпинский указ 6 октября о крестьянском равноправии, и его же указ 9 ноября о выделе из общины, и развитие в небывалых раньше размерах переселения за Урал, и политика широкой скупки Крестьянским банком помещичьих имений, из слабых рук, для последующей разбивки на мелкие участки, для продажи отдельным крестьянам в собственность — все это отвечало личному взгляду Столыпина, но проходило тоже по подсказу виттевского Совещания. От Витте унаследовал Столыпин и деловой состав работников земельной реформы во главе с Риттихом.

Я был деятельным участником реформы и при Столыпине. Но с удовольствием вспоминаю, что еще для Витте, в 1904 году, лично мною был составлен «журнал сельскохозяйственного Совещания» — о крестьянской судьбе, подчеркивавший, что и в области правосудия крестьяне были на особом положении. Немногие даже из русских людей знают и

четко сознают, что справедливо прославленный на весь мир русский суд, свободный и независимый, созданный судебными уставами Александра III, на крестьян, т. е. на девять десятых русского населения, не распространялся. В самом важном для них, в делах земельно-имущественных, крестьяне ведались волостными судами, т. е. своими односельчанами, подвластными земским начальникам, т. е. администрации.

Работа в сельскохозяйственном Совещании сделала меня тогда уже человеком, которого Витте привык видеть и узнавать еще до своего назначения председателем Комитета министров.

С этим назначением вся жизнь Комитета и его канцелярии резко изменилась. Изменилась и обстановка моей службы. Текущие мелочи управления — то, что в Думе потом получило название «вермишели», — Витте не интересовали. Зато по любому поводу возникали при нем крупные политические вопросы, и он любил, при предварительных докладах канцелярии, сам возбуждать такие вопросы и узнавать по ним мнения своих сотрудников. В заседаниях он не раз перебивал других министров, когда они высказывали трафаретные правые мысли, и замечал: «Такие речи, ваше превосходительство, хорошо произносить в Петербурге и во дворцах, а в России они встречают совершенно другой отклик».

Через год, когда политический ветер — в связи с неудачами русско-японской войны — изменился, Витте уже провел в Комитете проект указа «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», получивший частичное утверждение

Государя 12 декабря 1904 года. Говорю «частичное утверждение», потому что «боевой» пункт — «о привлечении выборных от населения к законодательству» — был в последнюю минуту исключен Государем. Но в указе 12 декабря остались — и вскоре вылились в подробные узаконения — два политически важных пункта: о религиозной свободе и о свободе печати.

Комиссия о печати, учрежденная под председательством директора Публичной библиотеки Д. Ф. Кобеко, не только выработала закон, давший печати значительную свободу, но была примечательна еще тем, что в состав ее Витте ввел целый ряд литераторов, как правых, так и левых. В Комиссию вошли: историк Ключевский, поэт Голенищев-Кутузов, либеральные писатели Кони и Боровиковский, журналисты Арсеньев, Стасюлевич (левые), князь Мещерский, Суворин и Пихно (правые), философ Радлов, беллетрист Голицын-Муравлин и др. Я был откомандирован в делопроизводство Комиссии, и эта работа — одно из самых приятных служебных воспоминаний, лестная для Витте страница русской жизни.

При своем издании указ 12 декабря почти не произвел впечатления на русское общество. Он вышел перед рождественскими праздниками, а сейчас же после праздников произошли события гораздо более яркие и театральные. 9 января священник Гапон, революционер и полицейский провокатор вместе, привел за собой толпу рабочих к Зимнему дворцу; рабочие шли с царскими портретами и иконами, но и с требованиями свобод — они были встречены выстрелами. Одна из самых трагических страниц последнего Петербурга... А 8 февраля в

Москве был убит революционерами великий князь Сергей Александрович, дядя Государя, московский генерал-губернатор.

Русская же печать, обязанная Витте сравнительной свободой, вскоре использовала эту свободу для хулиганских нападок на того же Витте, изображая весь его режим как сумасшедшую «Виттову пляску». Но для историка — и дарование свободы печати и, еще более, отмена преследований за веру — заслуги перед Россией бесспорные!

Вскоре после издания указа 12 декабря я был приглашен профессором Ивановским пообедать у него с другими профессорами. Мои бывшие учителя стали уже терять надежду, что я к ним вернусь, но любили узнавать от меня последние петербургские новости. Я рассказал, что мог, о комиссии Кобеко, а затем разговором завладел старый остроумный профессор Дюверже. Он скоро перешел к личной характеристике Витте, которого прекрасно знал, и закончил словами: «Все будет у нас, господа. И мир с японцами, и конституция. И все эти новости вырастут там, где произрастает наш всероссийский большой лопух — Витте!» Прозвище было подходящее. И в стиле самого Витте, примитивно огромном.

Предшествовавшие указу 12 декабря доклады канцелярии Комитета министров у Витте, а еще больше речи самих министров в заседаниях (на общую тему: «России нужно больше законности и свободы!») были полны оживления. Помню, как после интереснейшей речи П. Н. Дурново, товарища министра, заведовавшего полицией, о недочетах нашей административной (без суда) высылки, барон Нольде грозился в шутку не пускать меня

больше в заседания: «А то Дурново вас тут, по молодости лет, распропагандирует».

П. Н. Дурново вообще производил впечатление самого умного, наиболее живого и самого независимого из всех тогдашних коллег Витте. Витте впоследствии, став уже конституционным премьером, провел именно Дурново в министры внутренних дел, несмотря на упорное сопротивление Государя этому назначению. Эта позднейшая история с назначением Дурново министром обычно излагается в воспоминаниях современников, в том числе и в историческом труде Ольденбурга, неверно, в совершенно превратном виде: будто Витте в революционные 1905—1906 годы совершенно растерялся, и только Дурново, решительный министр внутренних дел, *в противовес Витте* назначенный самим Государем, спас положение своей твердостью и безбоязненными арестами главарей революции.

Дело в том, что у Дурново была в прошлом неприятная история, навлекшая на него гнев Александра III — и недоверчивое (уже по наследству) отношение Николая II. Заведуя полицией, Дурново как-то распорядился произвести обыск испанского дипломата, которого подозревал в романтической переписке с любовницей самого Дурново. В припадке ревности он и замыслил найти и извлечь подлинник ее письма. Отсюда возник довольно острый международный скандал: нарушено было право дипломатической «внеземельности». Александр III, считавший самого себя собственным министром иностранных дел, жестоко тогда рассудил и на представленном ему докладе о проступке Дурново положил, со свойственной ему резкостью, высочайшую

3 Зак. 3475

резолюцию: «Убрать эту свинью в сенат». Тут разгорелся новый скандал, уже внутренний — страшно обиделись все сенаторы! Дурново все-таки стал сенатором и держал себя в сенате так умно и так либерально, что понемногу с собой там примирил, а при Николае II вернулся и к заведованию полицией. Без его опытности в полицейских делах министры обойтись не могли. Но назначить Дурново на роль министра Николай II все-таки не пожелал. И когда Витте, сознававший собственную полицейскую неопытность, представил именно на *эту* роль Дурново, Государь уперся. Витте же, во-первых, хотел, чтобы политическая полиция находилась в испытанных и верных руках, а, во-вторых, хотел еще, втайне, чтобы «одиум» политических репрессий падал не на него, Витте, а на другое лицо; он же сам мог рисоваться «налево» своим конституционным либерализмом. Поэтому он продолжал настаивать и умолял Государя согласиться на назначение Дурново министром внутренних дел. Третье или четвертое представление об этом Витте вернулось наконец (в день, когда я был дежурным секретарем при Витте-премьере) от Государя с его пометкой синим карандашом (вижу ее, как сейчас): «Хорошо, только не надолго». Таким образом, легенда о том, что Дурново был назначен помимо и вопреки Витте, сущий вздор.

Но Дурново оказался и сильнее, и умнее, и коварнее, чем рассчитывал Витте. Он не стал играть роль услужливого громоотвода при Витте. В то же время присутствие Дурново в кабинете помешало Витте привлечь в свой кабинет министров — общественных деятелей, в частности Гучкова (который

стал впоследствии общественной опорой для кабинета Столыпина).

Обстоятельства вынуждали и самого Витте для подавления смуты прибегать к военным и полицейским репрессиям. Так, лично Витте настоял на посылке в волнующуюся Москву генерал-губернатором и усмирителем адмирала Дубасова. Роль благородного либерала, рядом с «полицейской собакой» Дурново, у Витте не вышла, и составленный им как премьером кабинет министров никакого политического лица не получил.

Единственной переменой в составе министров, происшедшей при Витте и имевшей значение политической, яркой *политической новизны*, — был уход из обер-прокуроров Синода Победоносцева. Четверть века (1880—1905) Победоносцев был душою русской реакционной политики, автором той политической «закупорки», которая и была исторически скрытой, но коренною причиной происшедшего в конце концов взрыва государственного котла.

Перед уходом Победоносцев сказал Витте: «Я не могу один опровергнуть целое мировоззрение». Он всегда считал идею народного представительства «великой ложью нашего времени». Но величайшей ложью самого Победоносцева была его долголетняя попытка *остановить вообще время* на политических часах царской России. За эту ошибку русская монархия, в сущности, и расплатилась гибелью.

Но в бурные дни 1905—1906 годов уход с политической сцены старика Победоносцева прошел мало даже замеченным. Японская война — Витте недаром заранее так ее боялся и так противился ей

всегда — разворачивалась все тягостнее для России. Сухопутные и морские бои оканчивались поражениями, ранили русскую гордость и разжигали революционное движение внутри России. Для себя Витте с каждым днем укреплялся в мнении, что необходимо 1) заключить мир и 2) дать стране народное представительство. Но при каждой встрече с Государем Витте убеждался, что *ни того, ни другого Николай II не желает*. Государь верил, что Япония истощена своей удачной войной гораздо более, чем Россия своей неудачной. Он надеялся, затянув войну, дотянуть ее до победы. Во внутренних делах он также считал, что неограниченная самодержавная власть, унаследованная им от предков, гораздо лучше для России, чем парламентская монархия, и отступал только шаг за шагом, надеясь ограничиться уступками несерьезными.

Под давлением жизни и советов иностранных правительств он согласился летом 1905 года начать мирные переговоры и назначил для ведения их в Портсмуте того же Витте, но сам все время надеялся — и в этом смысле инструктировал Витте, — что из переговоров ничего не выйдет. Когда же японцы проявили, под давлением англо-американцев и неуверенности в дальнейшем ходе войны, неожиданную умеренность и приняли виттевские условия, вызвавшие в Японии, после их принятия, народный бунт, Государь вынужден был подписать мир, но сам был *в отчаянии*. Его историк и панегирист Ольденбург хотя и приписывал Государю весь успех портсмутских переговоров, но, судя по его же признаниям, если бы в России не было тогда «пораженца» Витте, то Государь, вероятно,

продолжал бы войну. Неизвестно, удалось ли бы ему дотянуть до победы при начинавшемся уже внутреннем развале, — или революция восторжествовала бы уже тогда и для ее усмирения верных войск уже бы не хватило. Во всяком случае, при этом варианте не было бы у нас «думского» периода монархии между двумя войнами (1906—1914), а это именно время оказалось русским расцветом, гордостью нашей истории и лучшей возможной защитой памяти Государя Николая II.

Согласно Портсмутскому договору Россия сохраняла на Дальнем Востоке свое великодержавное положение: за свои военные неудачи мы отделались только уступкой половины Сахалина японцам. И все-таки, когда Государь пожаловал в награду Витте графский титул, то немедленно враги — в правых и придворных кругах — приклеили к Витте прозвище граф Полу-Сахалинский (т. е. полукаторжник). Но в широких русских кругах имя Витте стало все-таки популярным.

Первую часть поставленной себе задачи он, таким образом, разрешил: мир, вопреки желанию Государя, был силою вещей заключен. Теперь, думал Витте, и вторая задача окажется посильной: добиться, тоже вопреки Государю, но имея за собой Запад и большинство населения в России, введения у нас народного представительства. Тогда станут возможными очередные неотложные дела: внутреннее успокоение, перевозка обратно в европейскую Россию разбитой, но еще дисциплинированной армии и заключение за границей большого денежного займа.

Перед войной, уходя из министерства финансов, Витте оставил в распоряжение Государя огромную по тому времени свободную наличность: около полумиллиарда золотых рублей; явно было, что от них ничего не осталось. Не беда: будет у меня власть, будут и деньги. И Витте был поглощен новыми своими планами — как подобрать в сотрудники сплоченную дружину министров и как найти пути к общественному мнению: привлечь его на свою сторону. Портсмутский мир был уже немалым козырем «там», в либеральных кругах.

А в это самое время ближайший сотрудник по Совету министров барон Нольде стал собираться — и действительно выехал — раннею весною, к неудовольствию Витте, на Кавказ, для свидания и сговора с графом Воронцовым-Дашковым. Меня Нольде взял в эту поездку с собой в качестве секретаря. И так как на обратном пути мы были задержаны на полдороге, в Новочеркасске, всеобщею, в том числе и железнодорожною, забастовкой, то приехали в Петербург уже после манифеста 17 октября о Государственной Думе. Впрочем, история этого манифеста была уже подробно рассказана в мемуарах Витте и в других воспоминаниях современников. Витте поставил Государя перед дилеммой: или военная диктатура, или конституция. Но кандидат в диктаторы великий князь Николай Николаевич наотрез отказался силой расправиться с революцией и сам убеждал царя дать народное представительство.

Нить моих личных воспоминаний о Петербурге плетется заново уже после возвращения нашего в Петербург в конце октября 1905 года.

Витте мы застали живущим уже в запасной половине Зимнего дворца, где его легче было охранять от террористов. Там же стали с той поры происходить и заседания преобразованного Совета министров. Мариинский дворец перестал быть местом, где творилась политика, и стал постепенно выпадать из моей памяти. Изменилась и внешняя обстановка моей службы. Гофмейстер Вуич, временно заменивший барона Нольде в его отсутствие, человек хотя и бездарный, но дельный, воспользовался этим отсутствием, чтобы вытеснить вообще Нольде у Витте. Вуич был гораздо моложе и «наряднее» Нольде, к нему доброжелательно отнеслась графиня Матильда Витте, а кроме того для нее, как и для самого Витте, острой приправой к смене управляющего делами послужило то обстоятельство, что Вуич был женат на дочери Плеве, еще недавно главного врага Витте в Петербурге, а он переходил таким образом в услужение Витте и не скупился на выражения восторга и преданности своему новому покровителю. Впрочем, эта «измена» всего через полгода, с падением Витте, оборвала, и уже навсегда, служебную карьеру Вуича.

Но в то время Вуич торжествовал. Нольде был месяца через два назначен членом Государственного Совета. Дела Совета министров больше ему не поручались, он сохранил только кавказское представительство. Единственное дело, порученное ему еще Витте, и то скорее случайно, было проверить новую редакцию Основных законов Российской империи. Законы эти, раз учреждена была Государственная Дума, должны были быть пересмотрены. Манифест 17 октября объявил целый ряд свобод, но как, на

каких условиях, оставалось еще неясным. И если бы отложить точное решение этих вопросов «до Думы», то для Думы создался бы явный соблазн вообразить себя Учредительным Собранием и расширить свою власть до крайних пределов. Государь этого опасался и поручил, помимо Витте, канцелярии Государственного Совета выработать проект новых Основных законов, этим занялись государственный секретарь барон Икскуль и в особенности его помощник Харитонов, умный и талантливый бюрократ, впоследствии государственный контролер. Харитонов был близким другом Нольде, и думаю, что именно через него Нольде и получил доверительно первые оттиски проекта, когда они еще не были официально разосланы, что произошло в начале 1906 года. С этим «сокровищем» Нольде немедленно поехал к Витте, был им принят и принес от него лично поручение мне, как человеку, готовившемуся к кафедре государственного права и имевшему в своей домашней библиотеке французские тексты всех конституций мира, изучить харитоновский проект и дать к нему подробные замечания. От себя же Витте добавил: «Пусть он (то есть я. — *И. Т.*). возьмет побольше из японской конституции, там права Микадо наиболее широкие. И у нас должно быть так же».

Думаю, что Нольде получил это серьезное поручение, в обход Вуича, только как ранний добытчик самого текста: к тому же, по моим воспоминаниям, это происходило еще в конце 1905 года.

Во всяком случае, я погрузился в изучение Основных законов с большим энтузиазмом, тем более, что и тенденция Витте — оставить побольше за

Государем — отвечала моим внутренним настроениям. Живо составленная подробная записка была вскоре представлена Витте, понравилась и легла в основу позднейшей редакции Основных законов, принятой Советом министров. К такому выводу о значении моей записки пришел изучавший историю составления новых Основных законов знаменитый юрист профессор Николай Степанович Таганцев. Записка эта (возвращенная впоследствии Витте старику Нольде) была (уже его сыном) показана Таганцеву. Таганцев напечатал свою статью об Основных законах и ходе их разработки, кажется, в «Журнале министерства юстиции»; когда же узнал от Нольде-сына, что заинтересовавшая его и расхваленная им записка была моею, то пожелал тогда со мной познакомиться (причем был поражен моей молодостью). Я же был поражен тогда его глубокой старостью. Это знакомство состоялось уже незадолго до последней, накануне революции, речи Таганцева в Государственном Совете, произнесенной с большим волнением (к сожалению, оправдавшимся!). Таганцев сказал тогда (и это имело резонанс): «Отечество в опасности!».

Кроме этого специального поручения Витте и вообще меня не забыл в те тревожные месяцы 1905 года. В заседания Совета министров меня при Вуиче уже не брали, но Витте распорядился, чтобы я был включен в число шести чиновников, поочередно при нем дежуривших в дни его премьерства (больше одного дня в неделю нельзя было физически выдержать этой работы, так ее было много!). Дежурили только начальники отделений канцелярии Совета министров, личный секретарь Витте и я. Дежурные

приезжали рано утром в Зимний дворец, на «половину» Витте, и оставались до поздней ночи, причем и завтракали и обедали у Витте, в присутствии его жены.

Вот тут-то в зиму 1905—1906 годов я и видел часто Витте «в халате» (в прямом и переносном смысле этого слова) и мог оценить его живость и простоту в обращении с подчиненными. Ко мне он был расположен, между прочим, и потому, что я был из родного ему Тифлиса. Дружа с тифлисским губернским предводителем дворянства, князем Д. З. Меликовым, Витте, очевидно, навел у него справки о нашей семье и спросил меня при первой встрече на дежурстве: «Как это вышло, что я не знал на Кавказе вашего отца?» — «Отец мой приехал в Тифлис только в 1880 году, когда вас там уже не было».

Жена Витте тоже была безупречно любезна, хотя и подшучивала над моим тогдашним идеализмом (Вуичу сказала как-то: «У него голубые глаза доверчивой лани»). От былой красоты в ней оставалось, по-моему, мало, но муж был в нее как будто еще влюблен. Еврейка, да еще разведенная жена (по первому браку она была за Лисаневичем, и дочь ее, Веру, Витте удочерил, очень любил и выдал ее за Нарышкина замуж), она, конечно, в Петербурге мешала карьере мужа. При Дворе ее не принимали, чем Витте был очень задет, тем более что он женился на ней с разрешения и даже одобрения императора Александра III. В обращении она была гораздо менее вульгарна и непосредственна, чем сам Витте, но придирчивый Петербург ставил ей «всякое лыко в строку». Очень осуждали, например, то,

что, приехав в запасную половину Зимнего дворца (Дворцовая набережная, 20), она немедленно заказала себе почтовую бумагу с золотыми буквами «Palais d'Hiver», вместо того чтобы просто указать адрес набережной. Суждения ее всегда казались мне умными и меткими.

Дружелюбное отношение и графа и графини сразу, однако, исчезло впоследствии, когда я стал близким по службе к ненавистному для них Столыпину. В начале 1911 года Витте обратился к Столыпину-премьеру с личным письмом, где жаловался, что крайние правые все время устраивают покушения на его жизнь, причем давал понять, что это делается, мол, не без ведома Столыпина. Столыпин, сам не ладивший с крайними правыми, ответил не сразу, довольно пренебрежительным и ядовитым письмом, а Витте — решив почему-то, что письмо это составлял я, — сразу вычеркнул меня из своего сердца и своей памяти.

Как инженер и математик, Витте был убежден, что, дав России Думу, он вышиб из-под ног революции главную ее базу, так что отныне русская передовая интеллигенция будет поддерживать государственную власть и, в частности, его, как премьера. Но он не рассчитал того, что у наших передовых общественных деятелей не было еще достаточно политического опыта; здравый смысл часто уступал в них место политическому азарту, а главное, привычку идти, уже много лет, в ногу с левыми, с революцией. После 17 октября Витте получил, вместо желаемого оперного апофеоза, травлю и смуту со всех сторон.

Кстати — так как в трагическое почти всегда вплетается и смешное — вспоминаю по этому поводу следующий курьез. Через несколько лет, окончательно затравленный справа, Витте решил написать для Государя оправдательную справку, составил ее сам и начал малограмотной фразой о том, что он, Витте, испросил манифест 17 октября исключительно «в видах резкой смуты во всех частях нашего отечества...» Государь, хороший стилист, немало тогда смеялся: выходило, будто Витте не *потому* решился на манифест, что уже была смута, а *для того*, чтобы была смута.

По сигналу, данному из-за границы (из Парижа, где был их съезд) революционными вожаками, в зиму 1905 года по всей России разгорелись восстания, в особенности на окраинах. Авось правительство растеряется и не удержится! Несмотря на то, что для огромного большинства населения Думы было достаточно. Но характерно (и в этом, конечно, вина была не Витте, а Милюкова), что кадетская партия не решилась тогда встать на сторону власти — она пошла за теми, кого сам же Милюков позже назвал «ослами слева».

Во время самого страшного из восстаний — московского, поднятого непримиримыми, крайними революционерами и подавленного только войсками, когда на улицах кипели бои, чего *в эти дни* требовали от государственной власти культурные и умеренные русские либералы? наши жирондисты, кадеты? — «Вывести из Москвы войска, ибо присутствие их поддерживает в населении неудовольствие и возбуждение!» Кажется невероятным, но это факт.

Ощупью Витте должен был приходить к тому, что позднее объявил уже как принцип Столыпин: «Революции — беспощадный отпор, стране — реформы». Успокаивая Государя, скоро переставшего ему вовсе верить, Витте упрямо, как вол и гигант, работал всю зиму 1905—1906 годов, но внутренне сам был подавлен и разочарован. Он вечно и все острее ощущал глубокое несходство взглядов и натуры своей и Государя Николая II.

При каждом моем дежурстве, при каждом попадавшем ко мне обмене писем между царем и его министром все яснее видел я, как прав был старый петербуржец Нольде, когда говорил: «Государь — это художник-миниатюрист, а Витте — грубый декоратор для большой публики. Такие люди *не могут* понять друг друга, это выше их сил!»

В Витте, при личном общении, всегда поражала казавшаяся невероятной смесь невежественного, вульгарного обывателя — и гениального дельца огромного калибра и силы, с прирожденной политической интуицией. Государь, безупречно светский, был несравненно тоньше Витте, внимателен к людям, к их психологии вообще, к оттенкам и мелочам, к форме, словам, к эстетике жизни, но зато он бывал нередко способен «из-за деревьев не видеть леса».

Витте не отрицал у Государя ни ума, ни обаятельности, ни тонкости. Но он думал по-пушкински, что и глупцы и сумасшедшие бывают иногда удивительно тонкими. Он решительно предпочитал Николаю II его отца Александра III, хотя сам же рисует его в своих мемуарах человеком умственно заурядным, но имевшим определенную и постоянную во-

лю. В Николае II он чувствовал враждебность к себе, а стало быть, и «неверность», и, кроме того, приписывал Государю трагические и сумасбродные черты и причудливый характер Павла Первого и совершенно искренно за него боялся. Сам же он, Витте, был воплощением и своеобразным перерождением формулы: «Государство — это я!» В нем жило стихийное, смутно неразборчивое — как жизнь, но и творческое — как жизнь — ощущение власти. «Вся власть — мне! И тогда все пойдет хорошо». Таково было его единственное, но зато искреннее и глубокое «политическое убеждение».

На этом пути он, конечно, не мог не столкнуться — и все время сталкивался — с Государем, тонким, впечатлительным и *ревнивым*. Отношение к царю Витте вылилось в конце концов в плохо скрытую ненависть. Правда, к ненависти этой примешивалась и тревога, жуткое и пророческое предвидение того, что для Государя и для царской семьи смута может кончиться кровью.

Государь же всегда говорил про Витте: «Он отделяет себя от меня», — и это была правда. Витте, чтобы заставить Государя делать то, чего тот не хотел, чередовал при нем свою настойчивость с грубым подлаживанием и лестью. Государь видел насквозь эту игру, для него слишком примитивную, а потому считал Витте «грубым хамелеоном». Крайне им тяготясь, он не видел редких достоинств Витте, считал его врагом, кандидатом в президенты российской республики, что было уже неверно и весьма несправедливо.

Витте, полный жизненного динамизма, эстетикой отношений пренебрегал, и жизнь ему за это жес-

токо мстила — у Государя. Там настигала и наказывала его эта никак не дававшаяся и всячески им попиравшаяся эстетика жизни, *форма* человеческих отношений.

Но случалось ему делать оплошности и вне царских приемов. Столкнувшись с Советом рабочих депутатов в 1905 году, он сам, своей рукой, у себя в кабинете Зимнего дворца, писал в начале ноября воззвание к рабочим, уговаривая их прекратить забастовку. Воззвание начиналось словами: «Братцы-рабочие!» Эти «братцы» были одною из политических безвкусиц, губивших и погубивших Витте. Воззвание не имело успеха. Главари забастовки презрительно отозвались, что «рабочие ни в каком родстве с графом Витте не состоят».

Государя крайне раздражала безвкусица Витте. Оставлял его у власти только для того, чтобы Витте достал денег. Витте и удалось заключить во Франции огромный, небывалый по тому времени внешний заём, спасший тогда наше и финансовое и политическое положение.

Заключение займа было всецело личною заслугою Витте, хотя в «Истории» С. Ольденбурга неверно приписана только Коковцову и самому Государю. На деле заём в Париже провел голландский банкир Нейтцлин, находившийся в непрерывных телеграфных сношениях с Витте, который и руководил всем. Все телеграммы были шифрованными, и я на дежурствах немало возился с этим специальным и трудным шифром. Коковцов был послан, по поручению Витте, в Париж только для того, чтобы дать формальную подпись от имени русского правительства под уже готовыми условиями займа.

Все, что Витте говорит об этом в своих мемуарах, сущая правда; сам Коковцов при жизни Витте никогда этого не оспаривал. Кроме того, я хорошо помню, как сменивший Витте Горемыкин в первый же день сказал мне: «Государь еле выносил Витте, терпел только потому, что без него не достали бы денег. А теперь больше не может».

Витте знал, что его преемником будет опять Горемыкин, старый его соперник, и это его успокаивало. Он считал Горемыкина бесцветно оловянным чиновником, знал, что тот — не оратор, по убеждениям близок к Победоносцеву, значит, с Думой поладить не способен, значит, в трудную минуту Государь опять обратится к нему, Витте... Думал подобно Бисмарку при отставке: «Le roi me reverra». Опасность — и прочная смена пришли неожиданно из провинции, в лице саратовского губернатора Петра Столыпина.

Витте уходил от власти в 1906 году, опальный у Государя и полупризнанный русским обществом. Он не переоценивал своей популярности, сам отлично сознавал свой «фатум». По этому поводу есть у меня такое шутливое воспоминание. Раз както за завтраком, выпив за едой, как всегда, обычную полубутылку шампанского, Витте с горя расшутился и стал уверять, что хотя ни золотая валюта, ни Портсмут, ни конституция не дали ему славы и не дадут бессмертия, но у него все-таки есть еще один, последний шанс. Есть только одна прочная слава на земле — единственная — кулинарная: надо связать свое имя с каким-нибудь блюдом. Есть беф-Строганов, скобелевские битки... «Гурьев был министром финансов наверное хуже меня, а навсегда

его имя знаменито! Почему? Благодаря гурьевской каше». — Вот и надо, мол, изобрести какие-нибудь «виттевские пирожки», тогда это, и только это, останется.

Он в этот день рассчитывал — в видах бессмертия — на свои крошечные горячие ватрушки с ледяной зернистой икрой внутри — к водке. Это было, разумеется, только шуткой. В тайниках души Витте верил именно в свою *политическую* звезду, в свое неизбежное «второе пришествие» к власти.

Судьба решила иначе: ни тебе ватрушек, ни власти, ни кулинарной, ни думской славы.

1951

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О КРИВОШЕИНЕ

Редкое сочетание: такт, воля, выдержка, осторожность; и в то же время — жадное влечение к жизни! Ненасытный интерес к людям, к человеческим характерам, к неизвестному.

Никакого идеализма. Но упрямая любовь к родине.

Никаких ярких, исключительных дарований. Но редкий в людях дар и инстинкт строителя: уменье собирать, а не растрачивать русскую силу.

Жизнь как будто случайно возносила его, дельца, практика, «интригана», каким считали его враги, все на бóльшую и бóльшую высоту. А он, именно в силу своей чуткости, гибкой цепкости, непрерывно рос, умнел, учился, стал крупным государственным деятелем.

И начав — как и все! — погонею за успехом, незаметно для себя пришел — к самопожертвованию.

Александр Васильевич Кривошеин родился в бедной офицерской семье, на польской окраине. Первая жизненная удача ожидала его в Петербургском университете: сближение с сыном всемогущего графа Д. А. Толстого, Глебом. Отец-министр покровительствовал этой дружбе и даже послал молодых людей в кругосветное путешествие. В будничной жизни впервые раскрылась страница сказки.

В Москве Кривошеин женился, породнившись с верхами купеческой Москвы. Новый, своеобразный мир характеров, дел, вкусов, возможностей.

Короткий период адвокатской и частной деятельности в Москве и петербургская чиновничья служба; карьера, поначалу довольно серенькая. Земский отдел, переселенческое управление...

Кривошеин усерден «в меру»; больше, чем бумаги, его интересуют люди, человеческие и служебные отношения; впечатлительный, восприимчивый, он искусно и осторожно движется вверх, по лестнице чинов и знакомств.

Японская война и смута 1904—1905 годов впервые для многих — думаю, впервые и для Кривошеина — поставила ребром основные политические вопросы русской жизни. В эту пору Кривошеин решает их, не колеблясь, в «правом» смысле. Теперь уже он энергичен: разрабатывает подробную аграрную программу, как нельзя более кстати для захваченного врасплох сановного начальства; сближается на этой программе с кругами «объединенного дворянства», быстро выходит на линию товарища министра и сразу же добывает себе «рыцарские шпоры» политического деятеля открытым выступлением против своего же министра Кутлера, против проекта принудительного отчуждения помещичьих земель, за «собственность»:

— Да, ускоренная продажа слабых земель в крестьянские руки. Но уцелевшие путем естественного отбора имения необходимы для питания городов, для вывоза, для общего подъема хозяйства, для сохранения культурного лица России.

Это выступление кладет начало долголетней «моде на Александра Васильевича» в Петербурге. Придворный мундир, короткое пребывание во главе Крестьянского банка, и Кривошеин — министр: главноуправляющий землеустройством и земледелием.

В своем консерватизме он искренен. Он чувствует незаменимость для России, для ее равновесия, исторической царской власти и близкого к ней слоя служилых русских верхов. В «низах» он с ужасом, почти физическим, ощущает власть тьмы, содрогание зверя. Пока не поздно, надо вывести русское крестьянство на путь культурного, собственнического развития. Чтобы спасти вершки, надо думать о корешках. Таков первоначальный ход его мысли.

К этому времени относятся слова, услышанные Кривошеиным от одного умного иностранца и глубоко запавшие ему в душу: «У вас правительство живет как будто бы еще в XVIII веке, народ в XIII, а интеллигенция — в XXII. Это должно окончиться катастрофой».

Иностранец оказался прав. Свалив «отсталую» власть, интеллигенция немедленно свалилась сама с заоблачных высот в медвежьи объятия XIII века. Не должно ли было именно так кончиться?

В десятилетие 1905—1914 годов русскою государственностью, вопреки революционной интеллигенции и вопреки вечным колебаниям при Дворе, были приложены героические усилия к тому, чтобы предотвратить крушение. Устранить наверху опасный разрыв между властью и обществом (крылатые кривошеинские слова: «„Мы“ и „они“! В этом разделении гибель!»). А главное — укреплять внизу

элементарные возможности достатка, основанные на праве.

Война уничтожила плоды этих усилий... Но усилия и достижения были! Царская Россия перед войной неоспоримо крепла, просвещалась и богатела!

В истории этого подъема одно из почетнейших мест принадлежит А. В. Кривошеину.

Любопытно было бы проследить, как петербургский делец, министр явно консервативный, повинуясь только здравому смыслу и сыновней любви к родине, постепенно вырастал в политическую и притом явно либеральную величину.

Прежде всего в земельном вопросе: выдвинутый помещичьими влияниями, Кривошеин скоро оказался самым «крестьянским» изо всех министров. Уже на посту управляющего Крестьянским банком он понял, что жизнь обгоняет его аграрную программу.

Новые земли приходилось искать главным образом за Уралом. Энергия Кривошеина, его поездки со Столыпиным в Сибирь, Туркестан, весь огромный, направлявшийся им труд Переселенческого управления — блестящая страница в истории последнего царствования.

В европейской России Крестьянский банк едва поспевал за покупками новых земель крестьянами. Но близок был и предел этому росту вширь. Надо было поднимать крестьянское хозяйство на той же площади, создавать прочную мелкую собственность. И тут Кривошеин был искуснейшим дирижером землеустройства, правой рукой Столыпина, во многих случаях и его политическим суфлером.

Между тем судьба толкнула его в область, где он — человек городской — был меньше всего «дома», гораздо меньше, чем, например, в торговле и промышленности или в просвещении (сам Кривошеин помечтал бы: «и в дипломатии...»). Но специалистов в министерстве земледелия было и без него предостаточно. Сам же министр в совершенстве знал главную науку администратора: знал жизнь, людей, человеческую психологию. Всегда знал, чего от кого можно требовать, что кому следует поручить. Умел быть приятным, умел быть очень неприятным, всегда был взыскателен...

В этом отношении отличный знаток сельского хозяйства, достойнейший А. С. Ермолов, был, как министр земледелия, куда слабее. Он оставил своим преемникам захудалое, безденежное царство зеленой скуки. Песчано-овражные делопроизводства, покрытые плесенью департаменты...

При Кривошеине все ожило, всколыхнулось. Чиновники его побаивались; в обществе и печати его любили. Министерству верили, давали деньги. Завязались отношения с земствами, кооперацией, учеными, общественными деятелями, печатью. Сразу же нашелся общий язык с Государственной Думой.

Поначалу весь этот невиданный раньше склад и размах работы внушался Кривошеину скорее практическою заботой: жатвы много, делателей мало, а времени отпущено России — в обрез! Но постепенно, за две «пятилетки» кривошеинского министерства, росли не только цифровые итоги работы: раскрывалась политическая ценность сближения правительства с общественными силами. В этом отношении Кривошеин шел уже дальше Столыпина, был

уже его «левою» рукой. Но он отлично знал и ценил то, какой могучей опорой для всех побегов монархического либерализма была личность П. А. Столыпина.

Столыпину приходилось вести не только открытую борьбу с революцией. Он вел еще и тайную борьбу: главные подкопы под него шли справа. «Государственная Дума должна существовать, потому что у премьера Столыпина открылся ораторский талант», — язвительно писал князь Мещерский.

Сановники-шептуны усиленно внушали Государю, что с Думой и обществом считаться нечего. Эти внушения создавали иногда опасные уклоны в симпатиях и настроениях Государя и, в особенности, императрицы. Стремление замкнуться в тесный кружок мнимо верных людей, ревнивое недоверие к сильным людям, к общественной популярности — все это странным образом сочеталось с мистической верой в простой народ, преданный царю безгранично. Столыпин умел бороться с этим самоубийственным ослеплением и тщательно оберегал ореол царской семьи, царской власти, всегда скрывая свою борьбу, никогда не становясь в оппозицию.

Столыпина убили. Кривошеин ощутил это как сильнейший удар по России, по царской власти. Сам любимый Государем, всегда находившийся под обаянием неотразимых женственных чар, ума и тонкости Государя, Кривошеин с отчаянием смотрел на жуткий отблеск несчастья и слабости, витавший в царском венце. Он не чувствовал ни в себе самом и ни в ком другом после Столыпина достаточно силы, чтобы преодолевать опасную отчужденность трона. А между тем в России имя Кривошеина стало уже

произноситься многими как надежда. Деловой и политический вес его был велик: он давно перерос свой портфель «земледелия». И тем не менее на моей памяти дважды Кривошеин уклонился от власти.

На упрек в нерешительности помню отрывистый и неохотный ответ: «Называться премьером и не быть им на самом деле — для этого нужно либо старческое безразличие ко всему, либо особая жажда к власти. А настоящей власти никому после Столыпина не давали и не дадут. Я предпочитаю быть полезным на моем собственном месте».

Кривошеин не чувствовал себя вождем. Ему не хватало ораторского дарования, огня, внешней властности — всего, что было в таком избытке у Столыпина, уступавшего Кривошеину в уме, широте, гибкости. Но там, где в премьеры легко проходил Штюрмер, очевидно, не в этих внутренних недочетах крылась причина неназначения Кривошеина. Вся политическая обстановка складывалась иначе: «мы» и «они» продолжали ссориться на краю бездны.

Грянула война. «Только война может погубить Россию», — твердил Столыпин. В грозные предвоенные дни это предостережение было забыто. Инстинкт русского самосохранения был заглушен чувством великодержавности, международными иллюзиями. Весть о вырванном у Государя согласии на общую мобилизацию была в Совете министров встречена восклицаниями: «Слава Богу!»

Принявший войну как рок, Кривошеин всецело отдался помощи Государю. «С железом в руках, с крестом в сердце!» Это выражение одного из старинных русских памятников, перенесенное Кри-

вошеиным в подписанный Государем манифест о войне с Австрией, заполнило его душу глубоким, подлинным пафосом. Он не только взвалил на свое министерство всю тяжесть продовольственного снабжения армии, умело, как всегда, притянув к этому и местные неслужилые силы. Он вовсю орудовал по части внешней и внутренней политики войны, стремясь сохранить хотя бы часть сказавшегося в первые дни войны объединения русских людей вокруг трона. В этой борьбе за коалицию Кривошеин одержал несколько пирровых побед у Государя (лично добившись, например, отставок Маклакова и Сухомлинова). Но спутникам его частых поездок в ставку ясно было, как слабела «мода на Александра Васильевича». Советы «не считаться», «пренебрегать» возобладали. «Мы» и «они» рассорились окончательно, на го́ре родине, по вине обеих сторон.

Уволенный из министров, Кривошеин скрывал ото всех, по просьбе Государя, свою отставку более месяца, чтобы не придать ей характера демонстрации. Получив наконец свободу действий, он выехал на фронт уполномоченным Красного Креста. На все сообщения дальнейших петербургских новостей от Кривошеина обычно получался ответ: «credo quia absurdum». После же вести об отстранении Государя пришло письмо: «Теперь осталась одна только декорация государственности, да и та скоро рухнет».

С первых же месяцев большевизма Кривошеин, рискуя всем: свободой, жизнью, — ринулся в гущу борьбы. Он входит в Национальный Центр и другие тайные организации, всюду проповедует «подвиг коалиции» правых и левых во имя родины. Создает

себе в самых чуждых ему кругах крупный авторитет, вступает в переговоры с иностранцами, — но тщетно: реальной честной помощи со стороны нет. Ни немецкая, ни союзническая ориентация не помогают. А внутри России почва ускользает из-под ног с ужасающей скоростью. Крушение за крушением!

Кривошеин борется до конца. Он, уклонившийся от премьерства при царе, идет в помощники к Врангелю (не из тщеславия же!), деятельно помогает в Париже признанию Врангеля Францией, сам меняет обеспеченную ему спокойную жизнь банковского дельца в Париже на севастопольское подвижничество. В тылу мученической армии бьется там изо дня в день над решением неразрешимых проблем.

Как забыть эти сухие севастопольские морозы с ледяным ветром. Последний клочок нищей, обессиленной родины, в лохмотьях, с усталым взглядом! И ночь перед эвакуацией, когда Врангель послал Кривошеина вперед, в Константинополь: подготовить, как он сказал, европейское общественное мнение и исполнить ряд практических поручений по встрече эвакуированных.

В хорошо знакомых мне глазах Кривошеина тогда уже ясно читалась смерть, сразившая его через несколько месяцев.

В эту страшную, бессонную ночь на английском крейсере жизненное «кругосветное путешествие» А. В. Кривошеина было окончено.

Но будущие деятели новой России — все! — должны будут принести его имени дань вольного или невольного уважения.

1931

ПЕРЕД ОБВАЛОМ

Спутник блестящей когда-то «звезды» Столыпина, умница, Мефистофель и властолюбец, мало во что верил Сергей Ефимович Крыжановский. Зато умел, как никто, работать. Имел волю. И, увлекаясь делом, всегда отличался чрезвычайной живостью в обращении и в работе (черты талантливого человека).

В министры Крыжановский не вышел. Но просиял «собственным политическом светом». И как спутник министра, и как искусный делец за кулисами Государственного Совета — он был всегда, насквозь, чисто политической фигурой. Прирожденным политиком.

Смолоду левый, казавшийся ярко левым даже и в либеральном министерстве юстиции, друг князя Д. И. Шаховского, Крыжановский стал впоследствии, под влиянием жизненного урока смуты, правой рукой П. А. Столыпина. Правой — и в деловом, и в политическом смысле. Близость к Столыпину быстро вознесла его вверх по служебной лестнице: товарищ министра, государственный секретарь, статс-секретарь его величества. Но та же близость в конце концов преградила ему путь к настоящей власти. Болезненная ревность императрицы Александры Федоровны к чрезмерно властному, по ее оценке, Столыпину был перенесена «по наследству» и на С. Е. Крыжановского.

По «Письмам императрицы» видно, какую бурю вызвала в ней кандидатура Крыжановского, осенью 1915 года, в министры внутренних дел. В те дни искали «правого человека» — на смену князю Н. В. Щербатову, обвиненному чуть ли не в «конкубинате со смутой» (известные стихи, приписываемые Мятлеву). Императрица «нашла» — Алексея Николаевича Хвостова. Но Горемыкин — премьер — долго противился этому назначению. Боялся молодости и разбойничьего наскока Хвостова. И тщетно выдвигал тогда Крыжановского. Тот тоже был, на его вкус, «молод», тоже был крут и по-американски напорист. Но зато имел неоценимое преимущество «школы», традиций русской исторической государственности.

В те же сентябрьские дни, когда с таким треском проваливалась политическая кандидатура Крыжановского в министры внутренних дел, бесшумно проваливалась и другая, чисто деловая кандидатура: в министры земледелия — Григорий Вячеславович Глинка. Психология отказа была та же: Глинка казался слишком близким спутником другой, также «закатившейся» в сердце императрицы звезды — А. В. Кривошеина.

Обстоятельства этого эпизода, отставки Кривошеина и неназначения Глинки, мне хорошо памятны. Пока еще не все былое унесено, вместе с жизнью, забвением, — и пока еще не все люди прошлого одинаково стерты и обезличены надвигающимся туманом, — хочется исправить то, что есть недоговоренного и неясного в представлениях огромного большинства эмиграции — о том, что же именно происходило «перед обвалом».

Обвал власти, повлекший за собою развал и жизни, начался и принял опасный, неудержимый характер со второго года войны. Тогда стала безвыходно нарастать распря: «Императрица — Дума».

Много было людей, повинных в бесцельном разжигании этой распри. В числе немногих, тушивших опасный пожар, был А. В. Кривошеин.

Причиной отставки Кривошеина считается обычно подписанный им и другими министрами протест против принятия на себя Государем верховного командования армией.

Причина, в нашем послевоенном сознании, скорее «неуважительная». Как же это: мешать Государю исполнить свой высший долг, да еще путем подачи, во время войны, какой-то бунтовщицкой бумаги...

А между тем именно Кривошеин дал тогда Государю и Совету министров мысль всячески *смягчать* отстранение великого князя Николая Николаевича от верховного командования армией, сглаживать углы в этом остром тогда вопросе. Не кто иной, как именно Кривошеин, писал по личному желанию Государя и прощальный смягчающий рескрипт великому князю.

Непримиримым в этом вопросе Александр Васильевич отнюдь не был. Как все тогда — колебался.

В начале августа, числа примерно 10-го, расстроенный Кривошеин сказал мне после доклада (директору канцелярии приходилось часто бывать «конфидентом» министра — в том, что выходило из рамок ведомства земледелия и относилось к общей политике; отрывистые, неохотные фразы ми-

нистра не были мною тогда записаны, но запомнились, думаю, неискаженными):

— Государь решил встать во главе армии! Жутко!.. При его невезении, в разгар неудач!

— Что же, избавимся от генерала Янушкевича... Вы же так поносили его при нашем возвращении из Ставки.

— Это совершенно второстепенно. Государь... Не идет ли он прямо навстречу своей гибели?

— Так не прятаться же царю от своего жребия!

— Легкомысленное, как всегда, рассуждение, — был хмурый ответ начальства. — Петербург и Киев накануне эвакуации. Время ли выступать Государю? Удар по великому князю: смещают — после поражений! Хорошо еще, что делают кавказским наместником... Нет, нет — отложить, подумать, смягчить, ослабить удар. Сделать перемену понятной, подготовить к ней Россию и заграницу...

— Хорошенько обдумать примирительный — на прощание — рескрипт великому князю...

— Да, конечно. Но как всего этого мало, мало...

Дня через три, поздним августовским вечером, Кривошеин прямо из заседания Совета министров заехал в Английский клуб на набережной и сразу же, круто, забрал меня и увез к себе.

— Великий князь отстраняется от командования. Но мысль о рескрипте понравилась. Сазонов говорил о ней с Государем: как бы постлать соломки... Через Сазонова мне же поручено составить проект рескрипта. С таким добавлением (в котором узнаю́ Государя!): чтобы в рескрипте, кроме похвал великому князю, были хвалебные слова войскам кавказского фронта, во главе которых великий князь

ставится. Попробуйте-ка сейчас набросать черновик, пока я отдохну от орания, своего и чужого, в Совете министров. Потом вместе поправим.

Рескрипт был составлен. Но подписан он не был и появился только дней через десять.

Что же происходило за эти несколько дней задержки?

Раскрываю том дословных записей А. Н. Яхонтова («Архив русской революции», т. XVIII). Секретные прения в Совете министров, августовские тяжелые дни...

И в душу врывается, как будто из невидимого исторического радиоаппарата, оглушительный гул, хрип и рев голосов, хорошо когда-то знакомых. Угадываешь и тембр, и интонации каждого. Голоса русских людей, мечущихся, охваченных жуткой, предсмертной тревогой за родину.

«...А старик так премудр. Когда другие ссорятся и говорят, он сидит расслабленно, с опущенной головой. Но это потому, что он понимает, что сегодня толпа воет, а завтра радуется, и что не надо дать себя унести меняющимся волнам».

Это уже не из книги Яхонтова, это из писем императрицы. Так картинно передаются Государю слова «друга» (Григория Распутина) о Горемыкине. Какой верный и замечательный образ! Он все время стоит перед глазами, пока читаешь яхонтовские записи. Вообще их надо непременно читать параллельно с письмами императрицы. Только так становится ясным многое, что было тогда неизвестно и автору записей, и министрам.

Ценность, точность и подлинность яхонтовских записей несомненны. Это не мешает им быть проникнутыми глубоким преклонением автора перед памятью Ивана Логгиновича Горемыкина. Но суждение о политическом деятеле должно быть свободно.

Лучшие воспоминания о семье Горемыкиных (дружба с сыном премьера) рисуют и мне привлекательный образ властного и умного старика, с большим достоинством, безупречной обходительностью и редкой внутренней твердостью. Историк воздаст должное и политической силе этого человека: силе сопротивления.

Твердость! Нет высшей похвалы политику и мужчине. Но и твердость, и волевое упорство не могут быть беспредметными, не должны переходить в безразличие.

Политическая роль И. Л. Горемыкина, его влияние на Государя и, в особенности, союз его с императрицей в решающие дни «перед обвалом» кажутся мне, и казались всегда, отрицательными.

Со времени роспуска первой Думы Горемыкин сохранял предубеждение против думцев. Но с тех пор многое изменилось. Дума была «укорочена» Столыпиным («по Крыжановскому»). Зато думская работа наладилась.

Этого-то правые круги никогда Столыпину и не простили! Им и Столыпин казался слишком «левым»!

Для Кривошеина сближение и работа со Столыпиным были поворотным пунктом всей его жизни. Из правого политического деятеля он стал — «центральным». Работать с Думой; во главу угла ставить хозяйственное укрепление России «снизу»; прекра-

тить наверху междоусобицу русских образованных людей, деление их на «мы» и «они». Одновременно подавлять воинствующую революцию, силы и шансы которой явно ослабевали по мере того, как страна *богатела*. Такова была продолженная и разработанная Кривошеиным столыпинская традиция.

Первые месяцы войны и поднятого войной энтузиазма Кривошеин оказал власти и лично Горемыкину, как премьеру, неоценимые услуги, был живой связью с Думой.

Постепенно энтузиазм слабел: расхождения нарастали. Кривошеин, хотя с оговорками, осуждая Думу во многом, верил в ее патриотизм, считал, что нельзя воевать в ссоре с обществом и говорил обеим сторонам: «Надо ладить». Горемыкин вернулся к своей исходной точке: «пренебрегать». И увы! учил этому Государя, влиял на него в эту сторону — разлада, влиял всем своим авторитетом.

Умнейший человек, выдвинутый когда-то «за ум» Победоносцевым, Горемыкин всегда был «философом» и к своей растущей непопулярности относился более чем спокойно. Говорил: «Я счастлив отвлекать на себя от Государя общественное неудовольствие». Но своим упорством он, пожалуй, и навлекал на Государя часть лишних неудовольствий!

В позе Горемыкина — «служение только монарху» — было много искреннего старозаветного рыцарства. Но была и доля политического лукавства.

Никогда не забуду, как тот же С. Е. Крыжановский при встрече со мною в Мариинском дворце, на заседании Романовского комитета, членом которого я состоял, обратился ко мне, в перерыве, со

4 Зак. 3475

своей обычной насмешливостью: «А не назначат вашего-то (Кривошеина) премьером! Иван Логгинович крепко окопался в своей непопулярности».

Происходил обычный в политике самообман и сдвиг настроений. Если бы вместо Горемыкина был поставлен царем кто-либо лучше умевший ладить с Думой — тот же Кривошеин, или Григорович, или Харитонов, — вероятно, содержание и направление правительственной работы изменилось бы — во время войны! — очень мало. Но отношения сложились бы другие. Власть выиграла бы время у революции. Легче было бы «дотянуть» — до улучшения дел на фронте...

Но положение обострялось и разжигалось — почти нарочно!

Больной вопрос о смене премьера неожиданно запутался в один тугой узел с вопросом о смене верховного главнокомандующего. Запутался — к явной (на короткое время) выгоде для И. Л. Горемыкина. Но в итоге, думаю, к большому несчастью даже и лично для Ивана Логгиновича.

В вопросе о верховном командовании скоро выяснилось, что сам великий князь Николай Николаевич принял известие о своем назначении на Кавказ «как милость». Он даже торопил с этим! Пришлось бы умолять великого князя оставаться...

Настроения в Совете министров по этому поводу менялись, были приливы и отливы. Кривошеин колебался и нервничал. Но непримиримым до конца, в вопросе о командовании Государя, был из всех министров только один — Самарин...

Температура в Совете министров поднялась, и страсти вновь накалились, когда посыпались теле-

граммы общественных учреждений с выражением доверия великому князю главнокомандующему. С другой стороны, стала известна похвальба Распутина, что это он «убрал» великого князя. Положение на фронте вновь ухудшилось... Заострился и вопрос о роспуске Государственной Думы.

Всем (в том числе и самим думцам) ясно было, что в военное время Думе особенно разговаривать нечего. Но тем полезнее казалось, чтобы на время отсутствия Думы власть находилась в руках людей «коронных», избранных царем, но не нарочито резко непопулярных.

Кривошеин предложил тогда новый компромисс в вопросе о верховном командовании: царь берет командование на себя, но оставляет великого князя своим помощником. Кривошеин затеял и собрание министров у самого Государя — для решения вопроса о внутренней политике на будущее: ладить или пренебрегать.

Заседание у царя состоялось 20 августа. Вопрос о его командовании решен был бесповоротно утвердительно. Вопрос же о политической линии был отложен. Но симпатии Государя скорее склонялись вправо: пренебрегать.

На следующий день, в отсутствие Кривошеина, в Совете министров произошли неслыханные по резкости прения. Горемыкина упрекали в разжигании болезненной ревности Государя к Думе и к великому князю, в непонимании положения, в личном упорстве и нежелании уйти и т. д. Тут же, по предложению морского министра Григоровича, в отсутствие, повторяю, Кривошеина, и решено было написать злосчастное общее письмо к Государю по двум

темам: 1) не брать командования и 2) «убрать Горемыкина» (так формулировал эту вторую часть сам Иван Логгинович).

Письмо писал А. Д. Самарин. Очень горячо — и столь же неудачно. С явным непониманием царской психологии, с упором на безвозвратно проигранный пункт о командовании. Собрал министров у себя — для подписи письма — Харитонов. Кривошеин не был ни инициатором, ни автором письма. Но не подписать его, из солидарности, он уже не мог, даже чувствуя ошибочность тона. Также подписали (и остались впоследствии на своих местах) министр финансов Барк, министр торговли князь Шаховской, министр народного просвещения граф Игнатьев. Военные люди — Григорович и Поливанов — уклонились от подписи, но доложили Государю о своей солидарности с письмом.

Словом, *в н е* письма оказались из всего Совета министров только двое: Горемыкин, против которого острие письма было направлено, и бывший директор горемыкинской канцелярии по министерству внутренних дел Ал. Ал. Хвостов (министр юстиции).

Самаринское письмо оканчивалось восклицанием: «Мы теряем веру в возможность с сознанием пользы служить Вам и родине».

Бунт, «забастовка министров» — возмущалась императрица Александра Федоровна. Но и в сознании императрицы то был бунт не против Государя, а лично «против старика» — И. Л. Горемыкина.

Смена военного командования произошла, как Государь сообщал жене, «удивительно хорошо и просто». И очень скоро — уже 23 августа.

«Царь в гладких, красивых выражениях дал отставку великому князю» — так называлась очередная корреспонденция «Таймса». Докладывая Кривошеину вырезки из иностранной печати, не без удовольствия обратил я его внимание на эту заметку. Ответ был:

— Государь страшно доволен всем. И рескриптом, и названием «Царская Ставка», и поведением великого князя, а главным образом — своей собственной твердостью.

Победив в этом вопросе министров, настояв на своем, Государь склонен был отнестись благодушно и к тем, кто тщетно сопротивлялся его командованию. Таков уж был царский характер! Вот если бы, наоборот, Государь был вынужден уступить министрам и отказаться от своего намерения — о, тогда бы он никогда им этого не простил. Восторжествовав же над мнением своих советчиков, царь как бы утрачивал внутреннее побуждение их увольнять. Многие из подписавших письмо и остались. Ушли только наиболее враждебные «другу». Или близкие Думе.

Вопрос, кто уйдет — Горемыкин или «бунтовщики», был нерешенным почти три недели.

По письмам императрицы видно с неотразимостью, что вся сила положения Горемыкина заключалась тогда, в ее глазах, в его непопулярности в Думе. «Только не увольняй старика сейчас, ибо это-то им и желательно». Так же неотразимо вытекает из писем, что сам Горемыкин — хотя и заявлял министрам, что он «был бы счастлив уйти», — в действительности энергично защищал свое положение, действуя через императрицу.

Письмо царицы от 23 августа:

«Старик был у меня. Он возмущен и в ужасе от письма министров... Ему трудно председательствовать, зная, что все против него и его мыслей, но никогда не подумает подать в отставку... Я просила его быть как можно энергичнее. Бедняга, ему было так больно читать имена подписавшихся против него».

7 сентября: «Бедный старик искал у меня поддержки, говоря, что я — сама энергия... На мой взгляд, лучше сменить бастующих министров, а не председателя... Наш друг прислал ему ободряющую телеграмму».

Горемыкин неоднократно ездил к императрице с докладами. Императрице это льстило; но в ее письмах выражается и тревога, что об этих поездках становится известным печати.

«Государь на фронте, царица должна помогать ему, *заменять* его в управлении. Так думают Андроников, Хвостов и Варнава». Министры против? Значит, они «не преданные люди». Такова была гибельная точка зрения, временно поддержанная Горемыкиным.

В начале сентября императрица писала: «Приняла Игнатьева. Они должны знать мое мнение о них и *о Думе* (подчеркнуто императрицей. — *И. Т.*), я говорила о старике, об их безобразном отношении к нему, и обратилась к нему, как бывшему преображенцу, с вопросом, что стали бы делать с офицерами, которые бы подкапывались под своего командира, жаловались на него, ставили ему препятствия и выражали свое нежелание с ним работать, — они бы моментально вылетели!»

12 сентября: «Старик, который был у меня вчера вечером, очень расстроен. Он жаждет твоего возвращения... Нужно решить, уходит ли он или он остается, а меняются министры, что было бы, конечно, лучше всего».

Государь, как известно, уступил в конце концов настояниям императрицы. 16 сентября он вызвал к себя в ставку министров, сделав им, по горемыкинскому выражению, «нахлобучку». На следующий день после этого царь писал жене: «Вчерашнее заседание ясно показало мне, что некоторые из министров не желают работать со старым Гор., несмотря на мое строгое слово, обращенное к ним; *поэтому*, по моем возвращении, должны произойти перемены».

В ближайший же сентябрьский доклад у Государя Кривошеин подал в отставку. Перед отъездом он волновался, впервые на моей памяти, не зная, что именно Государь ему скажет. Вернувшись, коротко бросил:

— Я уволен.

Ясно было: уходит. Но не сразу можно было добиться от него правды.

Государь принял отставку Кривошеина, почти ей обрадовался, был, видимо, благодарен, но взял с Александра Васильевича слово, что тот останется еще месяц. «Сейчас ваш уход был бы демонстрацией против меня». Надо было вынуть политическое жало у этой отставки, надо было несколько обесценить и ее и министра. Кривошеин принес эту верноподданническую жертву честно. Он «вознаградил» себя только тем, что не просто вышел в отставку, но

уехал на фронт уполномоченным Красного Креста. Служба родине продолжалась.

Белецкий, один из участников «свержения» Кривошеина, в своих показаниях революционной следственной комиссии рассказывает об этой отставке, но в его показаниях нет ни слова о протесте против смены военного командования! «Горемыкин, боявшийся заместительства Кривошеина, постепенно и умело подготовил свой удар последнему». Посеял в душе Государя семя недоверия к общественным выступлениям Кривошеина.

Теперь все это — дело прошлое. Тыловой неизвестный солдат, погубивший Россию, чтобы не идти на фронт, не думал ни о Горемыкине, ни о Кривошеине, ни о Думе. Ему было — «все одно — наплевать!»

К сожалению, та же формула «наплевать!», только в менее грубом ее выражении — «пренебречь», была усвоена сверху.

Ненужное взаимное озлобление между родственными группами культурных русских людей, горячо преданных родине, разгоралось — на радость вожакам красной черни. Вариант «ладить» испытан в нужную психологическую минуту не был.

Кривошеин сознавал слабость и примирительной позиции. «Наша либеральная пьеса, — говорил он мне вскоре после ухода, — из рук вон плохо игралась. Плохо и нами, министрами, и — еще хуже! — Думой. Всею русской жизнью!.. Бестолково, нестройно, зря, несуразно. Но ведь там, в окружении императрицы, непримиримом и замкнутом, там — жуткая пустота смерти...»

Кривошеин и, с не меньшей силой, Сазонов не уставали повторять в Совете министров: «Нельзя власти висеть в безвоздушном пространстве и опираться только на одну полицию... К чему поддерживать в законодательных учреждениях озлобленность и напряженность? Это грозит конфликтами, особенно опасными в дни войны». И. Л. Горемыкин с твердостью отвечал (книга Яхонтова, с. 120): «Это все равно пустяки». — «Нет, не все равно и не пустяки!» — выходил из себя Сазонов.

«Сазонов потерял голову, волнуется и кричит на Горемыкина», — отмечает в своих письмах императрица. «Мой приятель Кривошеин — тайный враг, неверен старику. Что с ним случилось?»

«Неверен старику...» Для Кривошеина лично был тяжел разлад с И. Л. Горемыкиным. Но пойти на открытое пренебрежение к русскому обществу Кривошеин не мог, не становясь неверным самому себе!

Независимый от петербургских министерских влияний П. Б. Струве так (печатно) характеризовал А. В. Кривошеина и его роль:

«В старой России всегда бывало в ее бюрократическом аппарате одно ведомство, которому в культурной работе, производимой государственной машиной, принадлежала руководящая роль. С половины 60-х годов XIX века до первого десятилетия XX века эта роль принадлежала министерству финансов. При А. В. Кривошеине она совершенно явственным образом перешла к министерству земледелия, которое стало фокусом культурной работы всего государства...»

«...Любя Россию, Кривошеин научился *ради нее* духу соглашения. Человек консервативных

убеждений, монархист по чувству и по разуму, он стал к концу жизни принципиальным сторонником широкого политического компромисса. Он стал таковым из политического реализма и в пределах, им диктуемых».

«...Как государственный деятель, он стал ловцом человеков, беря их везде, где он только их замечал, и с несравненным искусством ставя их на службу государственному делу...»

Все это придавало ему немалый вес в глазах и Государя и Думы, делало его центральной политической фигурой того времени. Поэтому Государь, чуткий и нерешительный, был озабочен: как все-таки ослабить, смягчить впечатление от этой отставки? Где найти заместителя с именем — общественным и достаточно веским?

Более последовательный и упорный И. Л. Горемыкин не считал нужным даже и «смягчать» увольнение Кривошеина. Он представил на его место просто «правого» Ст. Ст. Хрипунова, бывшего управляющего Крестьянским банком. Со своей стороны, Кривошеин возил тогда к Государю Глинку. (Он рассказывал мне потом, что Глинка чересчур волновался, «не вовремя вошел, не вовремя вышел»... Живо себе это представляю. Г. В. Глинка был монархистом, ребячески обожавшим Государя, и чувствовал себя в его присутствии «не на твердой земле».)

От окружения императрицы подослан был тогда «смотреть» Глинку пресловутый князь Андроников. Но Глинка его чем-то (невольно) обидел. Притом в глазах императрицы Глинка вообще был яблочком с кривошеинской яблони. В итоге, несмотря на лю-

безное обещание Государя, кандидатура Глинки всерьез, в сущности, даже не ставилась — как и кандидатура, впрочем, Хрипунова. Императрица писала: «Тот, кого предлагал Горемыкин, немногого стоит, — забыла его имя».

На смену Кривошеину выплывало — к неудовольствию Горемыкина — новое для него имя самарского предводителя А. Н. Наумова. Императрица писала Государю в ноябре (так затянулось подыскание преемника Кривошеину!): «Оказывается, старик предложил министерство Наумову в столь нелюбезной форме, что тот отказался. Хвостов виделся после этого с Наумовым и уверен, что тот согласится и будет счастлив, если ты его просто назначишь. Он очень порядочный человек, — он нам обоим нравится».

Выбор, действительно, был удачен. Но, оставаясь в рамках темы, я должен проследить не судьбу министерства земледелия, а политическую судьбу И. Л. Горемыкина после его сентябрьской победы. Победа эта была одержана в союзе с императрицей и ценою признания ее самодержавия. Последствия не замедлили сказаться — на самом же Иване Логгиновиче.

Раньше еще можно было бороться у Государя с влиянием императрицы. Даже накануне увольнения Кривошеина, Сазонова, Самарина и Щербатова императрица еще несколько волновалась: «Боюсь, что старик не сможет оставаться, раз все против него...» «Надеюсь, что ты разгонишь Думу; только кто сможет ее закрыть, раз старик боится оскорблений?»

После этой победы все стало казаться возможным. Недаром императрица писала: «Это последняя внутренняя борьба».

Когда Горемыкин попробовал сопротивляться назначению министром А. Н. Хвостова, у Государыни стали срываться в письмах фразы: «Со стариком нечего считаться... Милый старик слишком дряхл... Стар и не может применяться к новым требованиям, как ты сам мне это говорил...»

Ему было уже почти обещано звание канцлера. Но стоило старику показаться раз-другой несговорчивым — и все рушилось. Даже в вопросе о новом созыве Думы «старик» скоро оказался — о, насмешливая судьба! — «неправ и напуган». «Наш Друг виделся со стариком, который очень внимательно его выслушал, но стоял на своем. Он намерен просить тебя совсем не созывать Думы (она ему ненавистна), но Гр. сказал ему, что нехорошо просить об этом тебя, так как теперь все желают работать... Нужно оказать им немного доверия».

Доверие Думе оказано не было. Но очень скоро И. Л. Горемыкин, к величайшему своему удивлению, был уволен; пришлось ему неожиданно уступить свое место Штюрмеру и уйти, даже без рескрипта и без графского титула (что предполагалось в сентябре). Белецкий подробно рассказывает, как он предупреждал Ивана Логгиновича о грозившей ему отставке, как тот самоуверенно не допускал даже мысли об этом и как на другой день был убит и подавлен увольнением. Им тоже пренебрегли, но уже без всякого выигрыша для общего положения.

Все назначения (через Друга) становились отныне возможными. В служилых кругах подрывалось чувство права и чувство чести, главная опора монархии. Скоро и великие князья оказались «тайными врагами». Жуткая пустота вокруг трона ширилась.

В этих условиях дотянуть до военных удач на фронте было уже нельзя.

Ярким мученическим венцом искуплены все невольные прегрешения царицы, ослепленной лучшими душевными побуждениями. Но из числа неограниченных возможностей России историей избрана была возможность, казавшаяся самой невероятной: гибели монархии — и срыва народа в бездну.

1935

П. А. СТОЛЫПИН

Столыпин... Самое яркое из имен последнего царствования...

Быстро уходят вдаль воспоминания недавнего прошлого, но все более непререкаемым блеском загорается для нас имя Петра Аркадьевича Столыпина, когда-то столь боевое и для многих — когда-то спорное...

Мало сказать, что Столыпин был одним из лучших министров всех вообще царствований: он и от лучших *слуг* российского императорского престола был отличен тем, что обладал чертами *вождя*, в современном политическом значении этого слова. Столыпин был диктатором. «Временщиком» звали его враги. Он властно *вел* русскую политику, круто направлял ее в определенное русло и одно время добивался в Царском Селе *всего*. А вместе с тем умел оставаться, внешне, служилым рыцарем своего Государя.

Когда в неудачной японской войне надломилась вера в старое петербургское «как прикажете», тогда Витте удалось начать новый, более творческий период русской политической жизни. В идее, новый порядок был основан на сближении власти с русскими общественными верхами и на постепенном втягивании крестьянских низов в общерусскую культурную государственность. Но Витте удалось

только начать. Наладить новый, думский порядок суждено было П. А. Столыпину.

Витте, в первых поисках нового строя, не нашел опоры в русском обществе и никогда не имел ее, по-настоящему, у Государя. В отличие от императора Александра Третьего император Николай Второй Витте не верил. «Витте всегда как-то отделяет себя — от меня», — эта фраза, вскользь, но с неудовольствием брошенная Государем графу Сольскому, метко определяет взаимные отношения.

Сменивший Витте, накануне открытия первой Думы, И. Л. Горемыкин оказался тогда — как и впоследствии — в непримиримом разладе с самой *идеей* Думы. И Государь, с редкой проницательностью и удачей, назначил тогда премьером Столыпина, всего два-три месяца назад бывшего губернатором.

Не «объезженный» в петербургских канцеляриях интриган, но зато привыкший смотреть прямо в глаза русской жизни, Столыпин был сразу встречен по-особенному: надеждой и ненавистью. «В ложе министров публика почему-то интересуется только г. Столыпиным», — писали думские хроникеры...

Для спасения идеи народного представительства Столыпин сломал неудачный избирательный закон Витте (не побоявшись взять «вину и грех» на себя). Не побоялся затем Столыпин — и в этом его главная историческая заслуга — приступить и к коренной ломке крестьянского земельного строя. Он справедливо не видел для России иного выхода. Мужицкое хозяйство надо было вывести из темного, бесправного общинного подполья на твердую собственническую дорогу.

Успех столыпинской реформы был лучшим доказательством ее жизненности. А как ополчались тогда на нее наши «правые»!

Но, сказав революционерам: «Не запугаете», Столыпин мог бы повторить те же слова и правым. Он не боялся крепко держаться Думы, всегда отстаивал молодое русское народное представительство. Не побоялся он вести беспощадную борьбу и с появившимся около царской семьи Распутиным, постоянно высылая его обратно в Тюмень. Это подтачивало его собственное положение, но зато, пока Столыпин был жив, старец никак не мог и не смел распоясаться.

Распоясываться, впрочем, никому не было позволено при Столыпине. Упрямый русский националист, он был и упрямейшим, подтянутым западником: человеком чести, долга и дисциплины. Он *ненавидел* русскую лень и русское бахвальство, штатское и военное. Столыпин твердо знал и помнил две основные вещи: 1) России надо было внутренне привести себя в порядок, подтянуться, окрепнуть, разбогатеть и 2) России ни в коем случае — еще долго! — не следовало воевать.

Благодаря Столыпину, Россия вышла тогда из смуты и вступила в полосу невиданного ранее хозяйственного расцвета и великодержавного роста. Перед такой заслугой — так ли существенны столыпинские ошибки, уклоны и перегибы!

Его политическая линия была «центральной» — единственно правильной для России. И когда, падая от изменнической пули революционера-охранника, Столыпин перекрестил издали Государя, этот последний его политический жест был прекрасным,

ибо искренним. Столыпин имел *право* этот жест сделать! Он никогда не «отделял себя» от покойного Государя. И даже когда мог быть в душе недоволен, продолжал «честно и грозно» служить монарху. Понимал, что значил для России (внутренне еще слабо и плохо связанной) исконный «обруч» монархии!

Убийство Столыпина было сильнейшим ударом по императорской России, началом ее конца. Столыпинское «Вперед, на легком тормозе» продолжалось еще некоторое время и после его смерти. Главными продолжателями столыпинской традиции были граф В. Н. Коковцов и А. В. Кривошеин. Но *власти* его не было дано уже никому. Крайние русские фланги начали уже брать верх над центром. И земля стала понемногу ускользать из-под русского трона...

Последний, безвластный, русский премьер князь Голицын остался и на своем посту тем, кем он был раньше: управляющим канцелярией императрицы Александры Федоровны... О вожде-премьере не было уже и помину...

Но Столыпин свой долг перед Россией исполнил. В верности родине он, в нужную минуту, всегда находил в себе и нужные силы. Как бы нехотя, считая себя раньше «косноязычным», он в Думе показал себя первоклассным оратором. Никогда не считая себя не только гением, но даже просто особым умницей, он избрал единственно верный путь для России, проложил прочные рельсы к будущему.

И вот — судьба! Как человек и политик, Столыпин всегда был практическим реалистом. Он трезво и просто разглядывал любое положение и внимательно искал из него выхода. Зато, раз приняв решение, шел уже в его исполнении безбоязненно, до

конца. И на наших глазах этот простой и мужественный образ честного реалиста не только был облечен героическим ореолом: он начинает уже обрастать светящейся легендой — в согласии с исторической правдой.

1936

СТОЛЫПИН В СИБИРИ

«Сибирь, Сибирь... — ворчал в очередном дневнике „Гражданина“ князь Мещерский. — Не может же вся Россия перебираться на новые квартиры куда-то в Азию».

Поездка Столыпина в Сибирь в августе 1910 года казалась многим тогда в Петербурге каким-то чудачеством всесильного премьера.

Позвал он Кривошеина
И так ему сказал:
Вот там еще не сеяно!
Поедем на вокзал!

. . . .

Все на колени падают,
Народ кричит: ура.
Все это очень радует,
Но где же хутора?

Так вышучивал сибирскую поездку, в длинном и язвительном стихотворении, Мятлев. В придворных сферах шептались о чрезмерной, «царской» пышности столыпинского проезда. В общественных кругах покачивали головами: «как это объехать всю Сибирь в три недели», «потемкинские деревни» и т. д.

Столыпин, однако, вышел и на этот раз — как и во многих других случаях — победителем. Он

отлично знал, для чего он едет в Сибирь. А то, что он оттуда «привез», — новую железную дорогу и новый план дальнейшей колонизационной деятельности в Азиатской России, примирило с ним даже его противников. Понравилось и то, что Столыпин напечатал свой всеподданнейший доклад и отдал его на суд общественной критики.

Поездка в Сибирь, конечно, не была только случайным или рекламным эпизодом его премьерства. В политике Столыпин не был импровизатором. Взгляды его по крестьянскому вопросу сложились задолго до его петербургских триумфов. Не книги, не департаментские бумаги, а жизнь и *власть*, прямая «борьба в обхват» с революцией научили его тому, что для России нет и не может быть прочного будущего вне *сильного крестьянства*, вне мелкой земельной собственности. На этом он строил всю свою политику, а в этом плане уже нельзя было проглядеть такого «слона», как Сибирь.

Сибирь, с одной стороны, была царством как будто уже воплотившегося, крепкого, «столыпинского мужика», хозяйственного, богатеющего, с энергией и инициативой. Хутора искать в Сибири не приходилось, их было сколько угодно, только они именовались заимками. А с другой стороны — Сибирь продолжала существовать без *права* собственности: переселенческое дело велось под углом зрения дарового и душевого наделения; земли отводились от государства вновь прибывающему населению... А для этого у богатых сибирских старожилов и киргиз «отрезались» земельные излишки.

Внешнее противоречие между нашей земельной политикой «до Урала» и «за Уралом» было, таким образом, «соблазнительное». Урал был как бы водоразделом между двумя мирами. Столыпинское стремление дать и Сибири «собственность» было поэтому встречено в вагоне его спутников шутливым, но верным восклицанием: «Нет более Пиренеев!»

По обе стороны Урала тянулась, конечно, одна и та же Россия, только в разные периоды ее заселения, как бы в разные геологические эпохи. Впрочем, Западная Сибирь уже заметно сближалась с востоком Европейской России. Население там уплотнялось быстро, особенно после японской войны. В Сибирь шло ежегодно по несколько сотен тысяч крестьян, в особенности со времени отдачи под переселение всех кабинетских земель Алтая.

Этот широкий «алтайский» *жест* русской монархии прошел, кстати сказать, незамеченным, неоцененным. Единственный сибирский «помещик» — кабинет его величества — отдал даром, без всякого выкупа от казны, громадные, ценнейшие земли Алтая, в заветнейшем крестьянском раю, переселенцам — именем Государя.

«И никакой благодарности». Помню эти спокойные слова отнюдь не политика, старого и спокойного министра Двора, графа В. Б. Фредерикса. В них не было укора, не было даже особой горечи: был просто факт, исторический и совершенно бесспорный...

«Никакой благодарности» не ждал, конечно, от крестьян и Столыпин. Он вовсе не был «народолюбцем-идеалистом». Знал отлично и мужицкую жестокость, и тайную ненависть к культурным русским

верхам, легко пробуждаемую злобу ко *всем* людям, по-европейски одетым. Он пророчески сказал Шингареву, пришедшему к нему как-то хлопотать об освобождении арестованных мужицких бунтарей: «Они и вас ненавидят, и вас готовы убить». Зато уже не по предчувствию, а по разуму, по государственному опыту Столыпин знал, что мужика необходимо вывести на путь культурного собственнического развития, что возможности крупного сельского хозяйства в России драгоценны, но ограниченны, а главная опора русского благополучия все-таки свободное крестьянское хозяйство. Можно, конечно, русский народ разорить и поработить, можно в русский народ не верить и, по леонтьевскому совету, только «подмораживать» Россию так, чтобы она не «гнила». Но тогда нельзя быть русским, творческим, политическим деятелем, тогда ни у нас, ни у России нет будущего.

Не случайно же рост крестьянских хозяйств перед войной, при Столыпине, совпал с общим хозяйственным расцветом России! Не случайно и в последние — уже большевицкие — годы всякое угнетение крестьянского хозяйства, хотя бы с помощью тракторов, немедленно ведет к обнищанию России, а всякое самомалейшее послабление хозяйственному мужику оказывается живой водой, снова исцеляющей раны. В перспективе десятилетий нет и не может быть для России иной крестьянской программы, кроме столыпинской. И злейший враг сталинского коммунизма — русский крестьянин, в особенности же — сибирский. Тот самый сибирский крестьянин, который сумел окрепнуть

сам, широко развил вольную кооперацию и ненавидит иго колхозов.

Но Столыпин видел в Сибири, конечно, не одного только сибирского мужика. «Нельзя отсечь у русского двуглавого орла голову, смотрящую на восток». Эти столыпинские слова, сказанные при защите кредитов на Амурскую железную дорогу, не были в его устах только риторикой. Он чувствовал целостность — военную и живую — всего того огромного и пестрого материка, которым была Россия. Тот же Алтай, как и Уссурийский край, связывался живыми человеческими узлами с далекой Украиной. Но надо было крепче стянуть — и рельсами! — державное могущество великой России. А для этого одной только Сибирской железной дороги было тогда уже недостаточно. Ведь к ее рельсам только и жалось, довольно узкой полоской, все наше переселение! Помню, как Переселенческое управление, после передачи его из министерства внутренних дел в министерство земледелия, полушутя, полусерьезно умоляло передать его в министерство путей сообщения: «Там — наше место». Так тема земли связывалась со второй сибирской темой — железной дороги.

В 1910 году Переселенческим управлением был выдвинут проект постройки новой *южносибирской* железнодорожной магистрали через плодородные сибирские степи. Против этого направления возражали целых три министерства — и какие! — военное, финансов и путей сообщения. Столыпину, одолеваемому противоречивыми докладами, хотелось заглянуть самому в Западную Сибирь — послушать споры местных жителей и, наконец, соста-

вить себе личное мнение. Хотелось ему и поговорить на месте с живыми переселенцами и старожилами Сибири, поглядеть на живой ход заселения Азиатской России, видеть его не только на бумаге, не только в раскрашенных диаграммах.

Но, с другой стороны, прав был и князь Мещерский: не всей же России переезжать в Азию! Не мог Столыпин уехать от власти и всех тревог Европейской России на полгода в киргизскую степь или в тайгу — изучать там Сибирь.

Тут Столыпину помог А. В. Кривошеин. Эти два человека вообще отлично дополняли друг друга. Один — вождь, рыцарь, весь — сила и смелость. Другой — такт, расчет, осторожность. И оба — энтузиасты. Энтузиасты не самодержавия, как называют их слева, а великой России, нуждавшейся в исторической скрепе власти.

Кривошеин организовал и подготовил поездку Столыпина. Был разработан и обдуман до мельчайших подробностей маршрут по Западной Сибири, уложенный менее, нежели в месяц. Был также набросан — впрочем, без ведома Столыпина — и черновик будущей Сибирской записки. Его взяли с собой в путь, и там он все время пополнялся, переделывался, менялся, обогащаясь мыслью и содержанием.

В августе 1910 года поездка наконец состоялась. Столыпин взял с собой в поезд живую кладовую сведений по крестьянскому делу — добрейшего Д. И. Пестржецкого, а личным секретарем — князя Б. Л. Вяземского. Кривошеин забрал с собой в путь «самого» Г. В. Глинку, меня, как его помощника, и секретарем — Д. Ф. Гершельмана.

С тех пор начался и продолжался крутиться до 10 сентября интересный, но утомительный для всех нас «сибирский кинематограф». В поезде, на пароходе по Иртышу, в бешеной скачке на перекладных сотни верст по сибирским степям, от схода к сходу, от поселка к поселку, мелькали картины Сибири. Мужики, киргизы, переселенцы, их церкви и больницы, склады сельскохозяйственных орудий. Поочередно сменялись, докладывали Столыпину и мелкие переселенческие чиновники, и важное сибирское начальство.

Должен сказать, что на этом смотру переселенческие деятели, заменявшие отсутствовавшее в Сибири земство, выгодно отличались своей деятельностью. Особенное впечатление на Столыпина произвел заведующий Томским районом — всем Алтаем — Шуман, простой, широкого размаха «американец».

Губернаторы — лучшие из них — были поглощены все тем же переселенческим делом. Прочая администрация явно «не выгребала». В Сибирь шли служить не избранные. Кривошеин, не чуждый ведомственной ревности, был недоволен.

Сам Кривошеин сознательно все время поездки стушевывался, ограничиваясь ролью спутника, наблюдателя, иногда дружеского суфлера. Зато Глинка, чувствуя себя невольным антрепренером, волновался больше всех и за всех. «Его Сибирь» держала экзамен перед Столыпиным, но и «его» Столыпин держал экзамен перед Сибирью.

Высокий, властный, всегда внешне эффектный, Столыпин выдержал свою роль до конца. Он по-царски принимал почетные караулы, но просто и

хорошо разговаривал на сходах с переселенцами и, что было труднее, со старожилами. Умно, хотя и несколько неприятно, в упор, ставил вопросы администраторам. Сибирским обывателям умел добродушно, вовремя пожелать: «богатейте». (Помню, как одному из серых сибирских купцов, в маленьком городке, Столыпин пожелал «иметь миллион», на что тот почтительно и скромно ответил: «Уже есть».)

Спутников своих Столыпин поражал неутомимостью и подчинял своему обаянию. Но не могу, по совести, сказать, чтобы он был с нами «приятен». Он был внимателен, но скорее высокомерен. Позднее лестно отзывался обо всех Государю, сверх меры отличал; но тогда, в пути, приняв раз навсегда «позу власти», он из нее уже не выходил. Может быть, он был и прав в этом... А все-таки не раз вспоминались слова, слышанные в Петербурге от его личных друзей: «Столыпин — возгордившийся праведник». Насколько проще и приятнее бывал с подчиненными, при всей своей безграничной вульгарности и отсутствии душевного рыцарства, другой великий человек последнего царствования — Витте. (Третьего, в том же калибре, не было.) Но Витте был «сознательный грешник». А это вообще другая, более «человеческая» порода людей. Такие — гораздо легче для общежития, бывают полезнее для государства, но не таким — совершать подвиги.

На реке Каме, на обратном пути, расставшись временно с переселенческим делом, министры отправились в Поволжье. Тогда их сопровождали уже Риттих и Хрипунов (Крестьянский банк и земле-

устройство). А нам можно было, впервые за поездку, и заснуть, на двое суток — до Петербурга...

Когда вернувшемуся в Петербург Столыпину представили, по министерству внутренних дел, проект «его отчета», прекрасно, но по шаблону написанного, Столыпин попросил Кривошеина «скрасить его и дополнить». Тут-то и обнаружилась готовая «книга о Сибири», с его же, столыпинскими, мыслями, словами и впечатлениями, но обоснованная, в законченной разработке.

С разрешения Государя, знавшего и любившего Сибирь, эту книгу напечатали как «приложение к всеподданейшему докладу» (самый доклад занимал все две странички). И как же помогла потом эта книга — и обаяние П. А. Столыпина — расширению переселенческого дела, привлечению внимания к Азиатской России!

Самого Столыпина год спустя уже не было. Один из немногочисленных праведников русской власти, лучший из всех, кем могли еще держаться монархия и Россия, — был убит. Так, как он сам это предсказал: «рукою охранника».

1933

ПАМЯТИ Г. В. ГЛИНКИ

Родом из смоленских дворян, Григорий Вячеславович Глинка окончил Московский университет. Пробовал вначале заниматься адвокатурой, был помощником у Плевако. Но вскоре определился на государственную службу: «по крестьянскому делу». Сначала у себя в Смоленске, потом в Петербурге.

В одном из самых захудалых уголков министерства внутренних дел ютилось — тогда еще совсем маленькое и «черносошное» — переселенческое делопроизводство. С проведением Сибирской железной дороги его выделили в особую «часть», все еще скромную. Первым начальником Переселенческого управления был Гиппиус, вторым — Кривошеин, третьим — Глинка.

Сановный Петербург не без опаски встретил нового «переселенческого батьку», выдвинутого Кривошеиным. Правые взгляды уживались в Глинке с неискоренимым насмешливым вольномыслием. Вдобавок, как все талантливые люди, он и в отношениях бывал неровен. А главное — был непримиримым врагом всякой бумажной гладкости, не терпел шаблонов, предвзятых планов, и выше всякой системы ставил «нутро», правду, пускай тяжелую, сырую, грубую, неудобную.

Сердцу Глинки были понятны и дóроги самовольные переселенцы, валом валившие, вопреки всем запрещениям, на Алтай — и творившие в Си-

бири, *своими боками*, великое дело колонизации. С ними у него всегда находился общий язык; он понимал их мужицкое ощущение жизни, темную, неодолимую тягу земную...

Вся история России, по Ключевскому, «история страны, которая колонизуется». С окончанием японской войны подошла, вплотную, очередь для Сибири. Свыше полумиллиона душ стало переходить туда ежегодно, тесня старожилое население. Миллионы десятин надо было спешно «подавать» ежегодно. Местами население Сибири удваивалось.

В то время не говорили «догнать и перегнать Америку», но масштабы и темпы колонизационной работы пришлось взять рекордно-американские. При отсутствии в Сибири земства и общей отсталости сибирской администрации Переселенческое управление занималось всем: проводило дороги, торговало молотилками, строило больницы, копало колодцы, корчевало и осушало, сооружало церкви, посылало в глушь — крестить и хоронить — разъездные причты...

Всем этим Глинка увлекался до самозабвения.

Пришлось ему снаряжать в сибирские дебри и ученые почвенно-ботанические экспедиции, подготовить почвенную карту Сибири, издать громадный, двухтомный, поистине замечательный труд «Азиатская Россия». Без плана, без науки работать уже было нельзя.

На местах выхода переселенцев завязались прочные и дружеские отношения с земствами. И в разросшемся Переселенческом управлении ежедневно толпились и перемешивались всех толков, всех образцов русские люди...

А сам «переселенческий батько» — с упрямо-хохлацкими, висевшими вниз усами — безвыходно, неделями, сидел в думских комиссиях, отстаивая новые, теперь уже многомиллионные кредиты. Страстный спорщик и хлопотун, Глинка любил это «сидение» в Думе; да и Дума его любила. Он сумел отождествить себя с переселенческим делом, жил им — до мелочей. Подчиненные им гордились, авторитет у своих был подавляющий.

Хитрый Петербург все это знал и ценил. Он не мешал Глинке — взятому Кривошеиным как бы на поруки — диктаторствовать в своей области, хотя многое там и плохо вязалось со столыпинской главной линией... К оригинальной, красочной, во многом провинциальной фигуре Глинки привыкли. Даже блестящие старческие тени Мариинского дворца, шепотом брюзжащие о нем раньше: «неглиже с отвагой», внутренне его уважали.

Глинку сделали товарищем министра, но сохранили за ним Переселенческое управление: боялись тронуть... Он так и оставался бессменным руководителем всего земельного дела в Азиатской России. Можно сказать, что в царствование Николая Второго Глинка был для переселенцев (своего рода «государственных крестьян», хотя и свободных) своего рода «сибирским Киселевым», только без министерского звания...

В министры Григорий Вячеславович не прошел. Тщетно опальный Кривошеин проводил именно его на свое место. Впрочем, по складу натуры и дарованиям Глинка едва ли был политическим деятелем. Он был блестящим хозяйственником, одним из строителей нашего народного и государственного благо-

получия перед войной, русского, невиданного раньше расцвета («просперити»!) в предвоенные годы.

Прервав переселение, война принесла Глинке новую великую и ответственную заботу — продовольственного снабжения армии. Глинка и тут работал сверх силы — безмерно, бескорыстно; и пусть хаотично, переобременяя себя мелочами, зато всегда продуктивно; труд Григория Вячеславовича был всегда связан — крепким ремнем! — с реальными колесами жизни. Военное командование им дорожило; Государь сделал сенатором; союзники французы прислали командорский крест Почетного легиона.

После революции Глинка побывал в Константинополе — «турецким нищим», как он сам над собою подсмеивался, и в Крыму — врангелевским министром земледелия; наконец, в русском Париже — скромным работником Красного Креста.

Спору нет, почетные страницы крушения. Но жизнь стала такой убогою — по сравнению с прежней кипучей деятельностью! Бедный, милый, добрейший Григорий Вячеславович!

Душевную боль изгнания утоляла в нем только вера, глубокая внутренняя религиозность. Да оправдается же он ныне перед Всевышним этой своей верою! И — трудами, принесенными им, с таким жарким упорством, родине.

1934

А. И. ГУЧКОВ И ЕГО ПОРТРЕТЫ

После недавней (14 февраля 1936 года) смерти Александра Ивановича Гучкова — вот уже три ярких статьи о нем! Три больших, во весь рост, портрета. Подписаны они крупными именами: Н. В. Савича («Возрождение»), П. Н. Милюкова («Последние новости») и А. Ф. Керенского («Современные записки»). Все три автора дают любопытнейший исторический материал. Но рисуют они — три совершенно *несхожих* между собою портрета.

Так бывает. Портретист, а особенно портретист с именем, всегда видит по-своему, невольно подбавляет к изображению свои собственные душевные черточки. Но тут, в сложном и противоречивом облике А. И. Гучкова, трактовка портретов уж чересчур различна.

Уловлено, подчеркнуто ли главное? Основное, необщее выражение политического лица — то выражение, с которым А. И. войдет впоследствии в русскую музейную галерею?

Окончательное решение гучковской загадки откроется нам, вероятно, только тогда, когда будут напечатаны воспоминания самого Александра Ивановича. Но вот, на скорую руку, несколько штрихов. И несколько необходимых поправок.

Страстная преданность родине, ее военной мощи, быту старой и богатой Москвы... При столь же

страстной *ненависти* к Государю. Вот основной узел в сердце А. И. Гучкова.

На его безмерную, исключительную по силе и искренности любовь к родине Россия так никогда не ответила ему взаимностью. Так никогда и не полюбила его по-настоящему.

Зато — в ответ на ненависть к трону — ответная ненависть у Государя и, в особенности, у императрицы, создалась прочная. Перечтите письма царицы в Ставку! Гучков, Гучков — чудится везде и всюду; это он — главный враг, он — олицетворение революционных козней. Его зловещая тень заставляет не любить Москву, отворачиваться от Кривошеина и Самарина... Точно предчувствие, что именно этот коварный враг приедет требовать отречения.

В рассказе Шульгина о поездке во Псков с Гучковым есть признание: как он, Шульгин, внутренне боялся: а вдруг Гучков скажет Государю что-нибудь тяжелое, злое, обидное... Конечно, этого не случилось. Это было бы недостойно Гучкова. Но самый факт приезда именно А. И-ча за отречением — был уже излишней тягостью для Государя. Морально — как раз Гучкову ехать во Псков не следовало.

Н. В. Савич в своей искусной и обстоятельной защите памяти Гучкова предпочел вовсе не упоминать об этой поездке. Он выгораживает память А. И-ча (правда, с оговоркой — «насколько я знаю») и в другом отношении: «прямого участия в революции не принимал». Увы, с осени 1915 года принимал — и прямое. Тому теперь категорическое подтверждение в признаниях П. Н. Милюкова и А. Ф. Керенского. Да иначе — как и попал бы

5 Зак. 3475

А. И. Гучков в военные министры Временного правительства?

Но как раз тогда, когда А. И. Гучков достиг, казалось бы, двух главных целей своей жизни: 1) Государь отрекся и 2) именно он, Гучков, получал в свои руки русскую армию, — тут-то и ждала катастрофа.

Старая, дорогая московскому сердцу Гучкова Россия — без Государя не просуществовала и суток! Суток не просуществовала и эфемерная военная власть самого Гучкова. «Приказ № 1», изданный *помимо него* совдепом, сразу же разрушил призрачный сон министра. Оказалось — как это с выпуклой яркостью очертил в своем некрологе Гучкова А. Ф. Керенский, — что вне небольшого кружка штабных военных, сотрудничавших с Александром Ивановичем еще в доброе царское время, *никому*, решительно никому в русской революционной армии этот штатский военный министр, «барин в теплом пальто и с палкой», — *не нужен!* Справа и слева Гучкова окружили ненависть, недоверие, глухая стена злобы.

Смертельно раненный революцией, Гучков ушел из Временного правительства с надрывным криком: «Россия гибнет!» — но и со щемящей внутренней болью, что именно он, он сам — один из виновных.

Гучков скоро отрекся от власти и от революции. Когда арестованный Государь узнал от Керенского об этом отречении и падении своего врага, он не только не испытал какого-либо злорадства, но пришел в искренний ужас, что вот и Гучков затравлен — слева, совдепом! Надвигается какой-то уже беспросветный мрак... «Что еще готовит Провиде-

ние нашей несчастной родине!» — вот крик, вырвавшийся в дневнике из царского сердца, несчастного сердца, слабого, но несравнимого по благородству — с «подданными».

После первой революции 1905 года Гучков открыто встал на сторону правительства. Он уже и тогда отрицательно относился к династии и ее титулованному окружению, он питал и весьма «кислое расположение» к автору манифеста 17 октября, графу Витте (слова самого Сергея Юльевича, платившего Гучкову злобой и презрением), но Александр Иванович верил тогда в самого себя и, еще больше, в Столыпина.

Гучков стал душителем революции, — пишет Керенский. Искренний конституционалист пошел на сотрудничество с сомнительным,— пишет Милюков.

Слово «сомнительный» — не подходящее к Столыпину. Но и по существу: А. И. Гучков был конституционалистом примерно того же жизненного, а не бумажного склада, что и Столыпин. Как раз Гучков и подсказал Солыпину (как правильно утверждает Керенский) «переворот 3 июня», то есть убедил Столыпина, после неудачного опыта с двумя первыми, революционными Думами, изменить опрометчивый избирательный закон Витте, пожертвовать *формой* законности для спасения *идеи* Думы и конституции.

За новый избирательный закон ответил перед русским левым общественным мнением С. В. Крыжановский. Но политическим автором его был Гучков.

А. И. Гучков и в самой Думе был неизменным союзником и суфлером Столыпина, советчиком его по части разной «хитрой механики», в которой по-

койный А. И. был так силен. Недаром граф Витте в своих воспоминаниях негодует на «подделку» русской свободы, объявленной «его» манифестом, и всюду изображает Гучкова и Столыпина как двух политических Аяксов. Так оно и было довольно долгое время. Гучков разошелся со Столыпиным незадолго до смерти Петра Аркадьевича. Но после этой смерти он вернулся к мысли, что только столыпинский путь был спасительным для России. У меня есть несколько писем А. И., написанных уже в эмиграции, где он убежденно исповедует столыпинский символ веры.

Жалеть о сотрудничестве со Столыпиным А. И. Гучкову, во всяком случае, не приходилось. Время третьей Думы — не только блестящая страница его, гучковской, биографии, но и одна из самых блестящих страниц русской истории, время расцвета. Народное хозяйство России, ее просвещение, военная оборона, крестьянское дело — все это только выиграло от сотрудничества царского правительства с Думой, пусть и Думой укороченного образца.

На чем же оборвалось быстрое восхождение России кверху? Только на войне. Не на политических настроениях. При императоре Николае II шла кипучая, шибкая деловая работа во всех областях русской жизни.

Плохой Государь? Но какое плодотворное царствование! Какой — даже и политически — огромный скачок вперед! Сколько было сделано и сколько еще могло быть сделано, останься Россия под властью Государя. Да, колеблясь, уступая, беря назад, но все-таки в целом — как двигала царская власть Россию!

Гучкову, да и многим в страстном их нетерпении представлялось, будто Государь — «основное пре-

пятствие к осуществлению их политических требований» (выражение П. Н. Милюкова). Бесспорный патриот Гучков бросился, в разгар войны, в самую гущу военного бунта... Он погубил этим не только Царское Село, но и дорогую ему Москву.

В его оправдание можно привести многое. Бесспорно, царская власть отклонилась в последние годы от правильного столыпинского пути. Унизительное влияние Распутина разрушало, подрывало монархию. Вмешательство императрицы («ее» самодержавие) принимало порой безумные формы, без всякой нужды обостряя злобу, ставило в безвыходное положение лучших слуг трона.

И все-таки! Необходимо было дотянуть до военных успехов (к чему уже дело и шло). Военное сопротивление немцам было все-таки гораздо возможнее при старом строе, нежели после его крушения. А со штатскими — пускай необходимыми — переменами следовало потерпеть.

Распутин был уже убит. Болезненное состояние Государыни вскоре потребовало бы, вероятно, лечения. И, во всяком случае, лишь в состоянии крайнего нетерпения, даже идя внутренне на дворцовый переворот, думские политики должны были бы сознавать, что взбунтовать — для сведения политических счетов с монархией — тылового неизвестного солдата, попросту не желавшего воевать, было с их стороны безумием. Непростительной переоценкой собственных сил.

Любой министр и общественный деятель мог быть семи пядей во лбу. Мог быть (и бывал!) куда умнее и энергичнее Государя. Мог он, допустим, и

выходить из себя иной раз, при соприкосновении с царским двором...

Но все-таки! Надо же было сознавать, что «мистики», окружавшей историческую царскую власть, за несколько месяцев не создашь! И уж никак не заменишь личной, собственной талантливостью.

Когда свергли царскую власть, некому стало не только служить, но некому и быть в оппозиции. Гениальные общественные деятели и министры полетели — все! — от пинка солдатского сапога.

А. И. Гучков политически погиб в тот самый день, когда осуществились его политические идеалы, когда устранилось мнимое к ним основное препятствие.

Но если таково было его политическое предвидение, можно ли объявлять его, хотя бы и в некрологах, «большим человеком»? Только не давала, мол, ему ходу все та же узкая, проклятая русская жизнь.

При Государе А. И. Гучков участвовал все же в устроении русской жизни. Пусть участвовал не так, как ему хотелось, но все же участвовал и в Думе, и в Государственном Совете, и в Военно-промышленном комитете — с немалым влиянием! С немалым блеском! Зачем же было губить монархию?

«Большой человек», — твердит П. Н. Милюков. И ссылается при этом на пьесу «Большой человек» г. Колышко, где «герой» был якобы «прозрачно загримирован под А. И. Гучкова». На деле герой этой (неважной) пьесы был и впрямь большой человек, граф С. Ю. Витте. А про Гучкова можно сказать многое. Сильный человек. Замечательный человек. Большой ум. Большой — властный и упорный характер при внешней чарующей, бархатной мягкости

обращения... Но «большой человек»? Для этого Гучкову не хватало внутренней цельности подлинного вождя. И при всем моем уважении к памяти Александра Ивановича скажу: не хватало калибра.

Показательная черта: обычное предпочтение А. И. Гучковым тайных ходов — открытым. Страсть к партийной игре, к заговорам, к политической и военной интриге. Искусство организовать — да! Успехи и торжество за кулисами. Но при выходе на политическую авансцену — проигрыш, проигрыш, проигрыш!

Тяжелая, несчастливая была рука — у властного, умного, серьезного Александра Ивановича!

Многие ли помнят его в выигрышной роли председателя Государственной Думы? Даже демонстративная отставка — после того как Столыпин, распустив на три дня Думу, провел по 87-й статье закон о западном земстве — как-то слабо дошла до общественного сознания. Она была заслонена тогда личной сенсацией Трепова-Дурново и охлаждением Государя к Столыпину. Председателем Думы остались в нашей памяти: Муромцев, Головин, Хомяков, Родзянко. А Гучков помнится скорее главным думским воротилою, лидером партии октябристов и мастером думской политической кухни. Одно время всех вообще думцев дразнили «гучковскими молодцами». Но сам-то Гучков предпочитал действовать за кулисами.

Его умение влиять было огромно. Еще недавно, на одном полуполитическом обеде в Париже, Александр Иванович на похвалы его ораторскому таланту шутливо — и умно, как всегда, — заметил: «Да, в Государственной Думе слушали внимательно. Но

это лишь потому, что за каждым моим словом стояло не менее 160 голосов...»

Оратором, как и политиком, А. И. Гучков был прирожденным. И любил самое ремесло политики. Любил даже слишком! Увлечение «ремеслом» затемняло порой даже его ясную голову.

В разгар революции, уже уйдя из министров Временного правительства, Гучков приехал как-то к А. В. Кривошеину (близкому для него человеку — и по Москве, и «по Столыпину») с просьбой помочь в составлении программы «русской либеральной партии». Он хотел ее основать взамен партии октябристов, ибо «партии 17 октября» уже не могло быть — без Государя и в преддверии «ленинского октября».

— Да, но какие же шансы на успех может иметь такая партия теперь, когда поднялись низы, ненавидящие буржуев?

Ответ был дословно:

— Кадетам выгодно иметь на политической арене хоть какую-нибудь партию правее себя. Они будут ее, конечно, чернить, но зато уже обещали, втайне, уступить часть мест, поделиться... А у кадет при выборах в Учредительное Собрание все же кое-какие голоса будут...

Большой ли человек говорил эти слова?

Чистый политик и стратег, А. И. Гучков был вообще как-то мало чувствителен к социальным вопросам, к реальной подоплеке политики. Умом он, конечно, понимал все. Не прочь был и порисоваться: «мой дед был крепостным». Но инстинктом он был за «имущих». Вопросами земельным, рабочим интересовался больше теоретически...

«Барин в теплом пальто...»

Другая черта, которая также несколько мельчит Гучкова. Беспокойная страсть к ощущениям, к авантюре, к переодеваниям. Будучи штатским, он всерьез и упорно, без конца, работал над вопросами военной обороны. Но трудно отрицать, что, кроме дела, тут была и отрава. Заодно вербовались в военной среде личные приверженцы.

«Бутафорный военный» (словцо Витте) Гучков был, конечно, куда серьезнее военного Сухомлинова. Но в нем сидел и военный авантюрист. Волонтер в бурскую войну, чин харбинской пограничной стражи, задира-дуэлянт, вечно искавший, с кем бы «сосчитаться». Как мог он все-таки избрать мишенью — Государя?

Лучшее доказательство, что настоящей, стихийной, «почвенной» цельности у него не было. Основной политический инстинкт был неверен.

П. Н. Милюков вспоминает теперь сказанные ему слова А. И. Гучкова: «Вы сильны наукой и книгами, а я — коренным, стихийным чувством московского купца, который безошибочно подсказывает мне в каждую данную минуту, что именно я должен делать».

Да, Гучков притязал на русскую цельность. Но — если бы это было так! На самом деле в нем была беспокойная внутренняя *непримиримость*. И она очень часто подталкивала его — на ошибки.

Около имени Гучкова всегда возникал раздор. Еще на днях, в Белграде, произошла из-за него снова бурная перепалка. На этот раз — между В. В. Шульгиным и П. Б. Струве. В их политическом споре трудно не стать на сторону Струве.

Все мы в эмиграции — и Струве, должно быть, первый, — встречаясь с А. И. Гучковым, преклонялись перед его неутомимой, несравненной энергией. Он как никто преследовал большевиков, травил их в иностранном общественном мнении... Все мы подпадали, при встречах, и под обаяние ума, силы Гучкова, его спокойной, любезной внимательности к людям, его огненной верности России. Но разве это устраняет и отменяет наш повелительный политический долг: в спорах о Гучкове-деятеле (человеком он был, вне спора, хорошим) искать только *правды*?

А правда — то, что Гучков *ошибся*, бросившись в военную революцию. И к этой ошибке он шел давно.

В воспоминаниях Витте, врага Гучкова, но врага, умершего задолго до революции, в 1914 году, значится еще под 1909 годом такая запись (сделана эта запись, правда, без ручательства за достоверность, но сделана для себя и взволнованно). Летом 1909 года Гучков сделал якобы одному русскому, жившему тогда во Франции, следующую неосторожную «конфиденцию»: «В 1905 году революция не удалась, потому что войска были тогда за Государя. Теперь нужно избежать ошибку, сделанную вожаками революции 1905 года, в случае наступления новой революции необходимо, чтобы войска были на нашей стороне. Поэтому я исключительно занимаюсь военными делами, желая, чтобы в случае нужды войска поддерживали более нас, нежели царствующий дом».

В жутком свете событий 1917 года эта, может быть, и апокрифическая, запись Витте 1909 года приобретает трагический, для нас и для Гучкова,

смысл. Она еще теснее сближает его имя с именем другого, только что скончавшегося иностранного политического деятеля — Венизелоса.

Не то ли же основное, и очень редкое сочетание? Патриотизма, личного благополучия — и ненависти к родной монархии. Сочетание штатской хитрости и военной интриги. Страсть к заговорам, неодолимая тяга к политике, при малой чувствительности к социальным противоречиям. Та же партийность и «либеральность». Та же изумительная, беспокойная и сравнительно мало созидающая энергия. И почти тот же хмурый, внешне подслеповатый, но внутренне зоркий, острый взгляд за очками.

Конечно, Венизелос был гораздо удачливее. Он несколько лет все-таки правил Грецией, стал международной знаменитостью, хотя и при помощи англичан и на небольшой сцене. Совершенно иною была и развязка его спора с монархией.

В мрачной русской трагедии погибают *в с е*. В Греции — наоборот — примирение, чуть ли не идиллия! Но при моральном торжестве короля над Венизелосом. Этот исход знаменует торжество безличной, но глубоко исторической традиции над личным талантом и честолюбием. Венизелос умер — «да здравствует король!»

В нашем политическом сознании русский Венизелос — А. И. Гучков — также побежден и, думаю, навсегда, отрекшимся, замученным императором.

Но тени их когда-нибудь примирятся. А вина Гучкова давно искуплена. Жгучей — всю жизнь! — любовью к родине. И предсмертной, выше сил, борьбой — за ее свободу.

1936

СПОР О ГУЧКОВЕ

Спор о «портретах» Александра Ивановича Гучкова и о роли его в русской революции продолжается. Некоторые из сделанных мне возражений — и в печати, и в многочисленных частных письмах — обязывают к ответу. Не то чтобы хотелось длить прения до бесконечности на тему: «Кто виноват?» Ответ слишком ясен: «Все». Но расширяется и углубляется тема воспоминаний. С личности покойного Александра Ивановича центр тяжести переходит на трагическую гибель русской монархии, а следом за ней — России.

С этой темы я и начну, чтобы не разменивать завязавшегося спора на мелочи. Вот вкратце два основных моих — не обвинения, нет, — но исторических утверждения.

Первое: солдатский бунт в Петербурге разросся в победоносную революцию только потому, что он был возглавлен поначалу Государственной Думой, давшей революции свое знамя, но бессильной овладеть событиями. Против Думы посылать тогда усмиряющие войска было нельзя.

Второе: успех восстания в Петербурге еще не означал гибели монархии в России. Тыловой, взбунтовавшийся «неизвестный солдат» сам в первые дни еще трепетал, требуя «неразоружения и невывода» из Петербурга на фронт. Решающей силой был именно фронт, сравнительно еще крепкий. И вот тут-то соотношение сил было внезапно изменено в

пользу революции — не только союзом, очень недолгим, Думы и улицы, но и скоропалительным отречением. А отречение вызвано было тем, что ближайшие к царю генералы были обмануты гипнозом думского февраля. Именно генералы, а не Гучков, вынудили у Государя отречение. Но это отречение, обессилившее и разоружившее все элементы сопротивления, дало революции окончательную политическую победу.

Выдвигая столь заостренные утверждения, я отнюдь не забываю ошибок самой монархии, обусловивших ее падение. В моих статьях-воспоминаниях «Перед обвалом», напечатанных в «Возрождении» с год назад, подчеркивалась опасность происшедшего осенью 1915 года разрыва с Думой, — ложность политики И. Л. Горемыкина, приведшей к роковому самодержавию императрицы. Но имя Государя, ослабленное в культурной русской среде, было еще огромной и привычной движущей силой русского народного обихода. Наша военно-административная (не политическая) машина продолжала еще работать на Россию. А работала она, часто не сознавая того, именем Государя. Работала с перебоями, но все же гораздо лучше, нежели потом, при Временном правительстве. Новое правительство не имело за собой ни рутины, ни движущего «завода», одну только — чуждую народным низам — культурность.

Надо было отложить политические счеты, как это сделали бы французские политические деятели. Временно, в дни войны, одеть всю власть — и даже «общественность» — в военный или красно-крестный мундир. Так можно было еще дотянуть до военных успехов.

Делать же во время войны революцию «для лучшего продолжения войны» было, как показали события и как нетрудно было предвидеть, детской бессмыслицей. Ею и воспользовались большевики для «похабного» мира.

В замечательной французской книге барона Нольде «Старый порядок и революция в России» русский ученый, историк и юрист, в свое время столь близкий к Временному правительству, подробно останавливается на вопросе: как же могло вдруг, волшебно, измениться соотношение сил между громадным, дисциплинированным, верным еще монархии и России фронтом — и петербургским расшатавшимся гарнизоном? Ответ — прямой, единственно честный, в книге таков: близкие к Государю генералы были обмануты. Они поверили в Думу, в то, что Дума владеет революцией, что перемены можно свести к отречению Государя в пользу великого князя Михаила Александровича. А там события понеслись уже стихийно под гору; за отречением Государя последовало с неизбежностью отречение захваченного врасплох великого князя; бессилие Временного правительства; распад и разложение фронта и самоотверженные, но тщетные попытки А. Ф. Керенского гальванизировать военное сопротивление немцам...

Победа революционной заразы, торжество безумия, расправа низов России с ее верхами вытекли из царского отречения еще в большей мере, нежели они его вызвали.

А. Ф. Керенский пытается теперь, наоборот, представить акт отречения какой-то несущественной подробностью — «бумажкой из фантастического

царства...» Но трехсотлетняя монархия была отнюдь не фантастической реальностью, даже и накануне революции. Военная, финансовая и административная машина работала, царские деньги были — не чета керенкам, повиновавшийся Государю фронт был реальностью. «Фантастическим» можно назвать в новейшей русской истории только воцарение и управление самого А. Ф. Керенского. На смену ему пришла уже новая, варварская грубая реальность: большевики.

Какова же была во всей этой трагедии роль А. И. Гучкова?

Это не он объезжал солдатские казармы в последние ночи сумасшедшего февраля, это не он бунтовал против царя неизвестного солдата, в сущности, просто не желавшего воевать. Это делали уже другие крайние революционные ораторы — в том числе, если верить молве, и сам А. Ф. Керенский (кстати, было это или не было, Александр Федорович?).

Но в соблазнении генералов А. И. Гучков принимал участие огромное, пожалуй, даже решающее участие. Он давно уже и настойчиво склонял военных к мысли об отречении. В споре Думы с царской властью убеждал встать на сторону Думы, стремился (из патриотизма, не спорю) получить армию в свои руки — при новом Государе, который бы «не мешал».

Конечно, никого при этом Гучков не обманывал. Он совершенно искренне обманывался и сам. Так он строил свои планы событий. Но если же делить политических деятелей того времени на обманувшихся и обманутых, соблазнителей и соблазненных,

то нельзя не отнести к «соблазнителям» А. И. Гучкова наряду с князем Г. Е. Львовым и, в меньшей степени, М. В. Родзянко. Генералы не устояли перед настойчивой самоуверенностью политических главарей.

Гучков же, самый из них троих умный, только прозрел раньше других, с первых же шагов революции. Князь Львов продолжал обманываться и дальше...

Генералы поняли также скоро...

Перечтите в «Красном архиве» разговор генерала Алексеева по прямому проводу с военным министром Гучковым после отречения великого князя Михаила Александровича. Это крик ужаса, вопль человека, вдруг прозревшего: что же он, обманутый, ослепленный, наделал!

Близко видя недочеты царского строя, генералы (более или менее «заочно») верили в общественных деятелей. Но в среде общественных деятелей первым «по военной части» всегда шел Гучков. Он-то хорошо знал не только военное дело, но и высшую военную среду. Там у него были свои любимцы, свои враги, свои союзники. С голосом Гучкова военные считались прежде всего.

Такова в русской революции злосчастная, но, думаю, подлинная роль Александра Ивановича Гучкова. Он был, к сожалению, главным «соблазнителем» генералов.

Здесь я должен прервать свое изложение. Предвижу нападки политических друзей Александра Ивановича и хочу поэтому теперь же ответить на горячую и укоризненную по моему адресу статью г. Карпова (напечатанную уже в «Возрождении»)

«Беседы с А. И. Гучковым» и на сдержанное, полное интереса письмо графа Э. П. Беннингсена (там же).

При всем моем уважении к памяти покойного Александра Ивановича не могу не подивиться избранному г. Карповым методу защиты: ссылаться на чувства Александра Ивановича и на его родственные разговоры в опровержение его же поступков. Но ведь эти поступки Гучкова давно уже стали историческими фактами!

Граф Э. П. Беннингсен, отрицая, подобно г. Карпову, участие Гучкова в подготовке революции, также только «разводит руками» перед фактом назначения Гучкова революционным министром: «Когда через три дня он стал военным и морским министром, я этого понять совершенно не мог, — так это не вязалось с его всегдашним отношением к революции». Но ведь министерство Гучкова — факт русской истории и крупнейший факт его биографии, этот факт должен «вязаться» с его личностью! Поэтому явно прав Керенский: А. И. Гучков стал активным революционером (и союзником в этом Керенского) уже тогда, когда не только в близких Гучкову, но и в кадетских кругах самое слово «революция» вызвало еще «священный ужас». Гучков только, по-видимому, скрывал свою подлинную деятельность, как и свои новые, революционные взгляды от своих, даже близких, но более правых друзей, как и от своих правых родственников.

Что же касается второго крупного факта — поездки к Государю за отречением, — тут граф Беннингсен, подобно Н. В. Савичу, просто умалчивает. А г. Карпов пишет: «Во Псков Александр Иванович поехал случайно... У других не хватило решимости,

и задача была возложена на двух единственно смелых лиц в комитете, Шульгина и Гучкова».

Не совсем так это происходило! Сам А. И. был инициатором поездки, он сам возложил на себя эту задачу. Он предложил себя для поездки, а этого именно Гучкову, при его отношениях с Государем, делать не следовало.

В. В. Шульгин в своей яркой и талантливой книге «Дни» — опасной, как материал для политических выводов, ибо внушенной чрезмерной впечатлительностью, но зато ценной, как подлинный документ, как живая фотография тех бурных дней, — рисует облик А. И. Гучкова в самом выигрышном освещении, объясняет поездку за отречением монарха — порывом спасти знамя монархии...

Своей книгой Шульгин во многом искупил свою поездку к Государю. Но Шульгин имел нравственное право ехать за отречением, он его в тайне, подкопом, систематически отнюдь не подготовлял...

Не знаю, есть ли в воспоминаниях Гучкова рассказ об этой поездке или только ссылка на Шульгина, блистательного защитника. Но граф Э. П. Беннингсен недавно напомнил, что Гучков никогда, никому, даже ближайшим думцам ни слова не рассказывал ни об одном из своих докладов у Государя (даже в бытность председателем Думы). Настолько, очевидно, не ладились эти встречи Александра Иванович с Государем, но встречи эти и не могли ладиться! Независимо от политических антипатий вся повадка, весь склад, напористость Гучкова должны были отталкивать от него Государя.

Г. Карпов выражает тревогу, что «воспоминания» А. И. могут вдруг теперь оказаться не подлинными.

Но кто же станет заниматься фальсификацией? Воспоминания могут только оказаться более или менее интересными...

Я получил недавно от одного из самых блестящих русских людей за рубежом, скажу даже — от самого блестящего, большое, полное интереса письмо.

Автор письма, видный либеральный политик, не приложил, однако, своей руки к свержению монархии: он находил тогда, что нельзя «менять шофера» на бешено-скором автомобильном ходу, даже если шофер окажется сумасшедшим. Ныне он горячо вступается за покойного Александра Ивановича, как раз на «перемену шофера» и возлагавшего все надежды.

Уступаю «слово о Гучкове» своему оппоненту.

«Прочел Вашу статью. Со многим согласен. Многое в Гучкове и после нее остается неясным. Я прочел гучковские мемуары. Не обольщайтесь: и после них он останется загадкой. Оттого мне и хочется, пока не забудется, Вам указать на то, в чем Вы едва ли правы.

Вы видите в его фигуре парадокс: Гучков страстно любил Россию и ненавидел то, что Россия любила, т. е. ее Государя. В этом Вы видите и роковую ошибку его жизни. Как можно низвергать даже „плохого“ Государя? Надо было сознавать, что «„мистики“, окружавшей историческую царскую власть, за несколько месяцев не создашь».

Все это правда, но упрек не по адресу. Гучков это хорошо понимал, и не он стремился низвергнуть в России царскую власть. Если он оказался прикосновенным к дворцовому заговору, то из преданности монархии. По всему Петербургу ходила тогда

поговорка: «Чтобы спасти монархию, надо убить монарха». Если Вы не можете принять такого рассуждения, то потому, что в Вас монархист пересилил историка и политика. Ведь Россия знала примеры, как низложением царей вели к лучшему царствованию: Екатерина II и Александр I были неплохими государями, а Петр III и Павел I губили и монархию и Россию. Гучков именно так и смотрел на Николая II, когда он в последние месяцы всецело подпал под влияние императрицы и Распутина.

Вы не так смотрите на Николая II, но это спорный вопрос. Трагизм его судьбы, его поведение в последние месяцы с ним примирили. Вы правы даже в том, что — не будь катастрофы — это царствование могло оказаться блестящим. Судьба послала ему двух великих людей, он им мешал... Что в целом царская власть Россию двигала вперед, я согласен, но это царская власть по совокупности, а не власть каждого отдельного монарха: некоторые толкали ее назад. И если покушение на царскую власть вообще во время войны было преступно, то устранение одного *вредного* Государя могло бы оказаться счастьем именно для царской власти.

Во всяком случае, это вопрос факта, а не принципа — в фактах ошибиться можно, и Гучков мог в них ошибиться. Но ведь это сейчас праздный спор, ибо случилось то, чего никто не ждал и не желал. Свержение монарха превратилось в свержение монархии. Этого никто не ожидал, и, по правде сказать, этому можно дивиться, ибо все это знали. В тех редких случаях, когда до меня доходили слухи о заговоре, главным доводом против него всегда выставляли то, что Николая II заменить некем, это и останавливало

заговор в самом начале. Но в феврале 1917 года об этом забыли, потому что события вышли не из кружка заговорщиков, который опоздал, а с улицы; а монарх своим обнаружившимся бессилием перед улицей получил такой моральный удар, что судьбы монархии с ним связывать не захотели.

Ведь об отречении его просили не только Гучков, но даже и великие князья, даже самый лояльный Николай Николаевич и большинство генералов. Николай II уже потерял свое мистическое обаяние, и потому никто за него не заступился.

А политики в это время старались комбинировать так, чтобы сохранить принцип монархии и, вопреки очевидности, найти другого монарха. И вот на этих попытках обнаружилось, что это невозможно, ибо сама династия на это способна не была. Великий князь Михаил Александрович отрекся не только за себя, но объявил трон вакантным, на что права никакого не имел. И против этого никто не восстал — во имя монархии. Более того, это решение великого князя было подсказано ему не Гучковым, не кадетами, а правыми, начиная с Родзянко.

Вот тогда и разыгралась трагедия. Читали ли Вы разговор с генералами по прямому проводу, когда генералы поняли, что их обманули? Обманула не только русская общественность, но и царская династия. Страдал ли тогда Милюков — не думаю, но что страдал Гучков — не сомневаюсь.

Но что надо было бы делать *большому* человеку? Сохранить монархию вопреки ей самой? Тогда еще были ее сторонники, прежде всего в войске, а может быть, и в народе, но поставить такую задачу значило начать гражданскую войну с Вре-

менным правительством и временным комитетом Думы, это во время войны казалось уже *изменой*. В день отречения Михаила, когда другие великие князья обращались к Керенскому за охраной династии, очевидно, династия не была способна возглавлять такую гражданскую войну. Революция была объявлена — династией, манифестом великого князя Михаила Александровича. Вы правы, что без монархии Россия не прожила ни единого дня, но погубила Россию династия не менее, чем общественность. И Гучков за последние годы не прощал ей своей веры в нее.

Трагедия Гучкова тем значительней, что она — трагедия не одной его личности, а всей нашей политической катастрофы. В 1906 году с нормальной конституцией, к сожалению, уже опоздали. Любопытные парадоксы: в 60, 70 и 80-х годах конституция еще не была нужна, нужны были только умные, умевшие смотреть вперед государственные люди в рамках самодержавного строя; в 80-х и 90-х годах таким людям уже не давали размаху, самодержавие их не терпело; сам Витте принужден был хитрить. Самодержавие портило наш правящий бюрократический класс, воспитывая не государственных людей, а угодников и карьеристов.

Тогда началось освободительное движение, а оно развратило русское общество, изуродовало русский либерализм. Ведь на словах оно противопоставляло самодержавию «конституционную монархию», а на деле противопоставляло ему Учредительное Собрание, т. е. легальную революцию. И в 1906 году в природе не оказалось либеральной партии; на эту роль претендовали кадеты, но они были типичными

французскими радикал-социалистами. Это один из немногих понял Гучков, и его борьба с кадетами за либерализм и настоящую конституцию была лучшей эпохой его жизни; на земских съездах он был на десять голов выше своих противников.

Вы хвалите 3-ю Думу, в известной степени я с этим согласен; 3-я Дума укрепила конституцию, но эта эпоха была эпохой Столыпина, а не Гучкова; Гучков в 3-й Думе был уже ниже себя. Я из-за одной эстетики жалею, что его не было в 1-й Думе: какую бы историческую роль он там сыграл! Граф Гейден и Стахович не могли с ним сравняться.

Но перед 3-й Думой Гучков сделал ту же ошибку, что перед 1-й Думой — кадеты. Кадеты на выборах блокировались с левыми, что погубило и их 1-ю Думу, а Гучков блокировался с правыми, которые погубили и его и Столыпина. В 3-й Думе ему пришлось интриговать, маневрировать, может быть, иногда и обманывать. Это было не его дело, хотя способность к этому жизнь в нем воспитала. Но все-таки в политиканстве кадеты намного его превосходили и сумели его обойти.

Помните ли Вы, как в адресе 3-й Государственной Думы октябристы вместе с кадетами отвергли титул «самодержавный», хотя они все признавали сами, что это только юридический титул без содержания. Для кадет такой вотум понятен. Для октябристов же нет; этим вотумом они подвели и Столыпина и свою партию, ведь с этих пор Столыпин стал искать опоры правее октябристов, а Государь стал ненавидеть октябристов как ненадежных друзей. (Я на эту ошибку позднее не раз Гучкову указывал. Он не соглашался и даже сердился. Не со-

мневаюсь, что он ее понимал и признавал: потому и сердился.)

Тогда начиналось постепенное падение Гучкова, ибо Гучков уже не мог идти с властью, которая перестала ему верить, но и не хотел идти с кадетской общественностью; потому-то здесь трагедия не только Гучкова, а вместе с ним всей русской конституции, у которой не оказалось того, что было нужно, — государственного либерального центра.

И все-таки Россия была еще настолько здорова, что, несмотря на все ошибки верхов, дело налаживалось. Эти годы 1907—1914 были годами выздоровления; помешала война. Но ведь у войны была и другая сторона; она на время сплотила всех и дала России шанс выздороветь полнее и скорее, чем думалось. Кто виноват, что этого не случилось? Виновата бездарность нашей общественности, но и нашей династии, и в данном случае вина династии больше. Теперь они могут утешаться тем, что валят вину друг на друга, а настоящая трагедия Гучкова была в том, что он сознавал, что виноваты обе стороны, которые не сумели примириться даже ввиду неприятеля, что уже некого было винить, ибо вина лежит на всех одинаково, и что, как это ни страшно сказать, та Россия, которую он так любил, эта Россия *сама* участь свою заслужила».

Таково это замечательное письмо. Оно писалось не для печати — тем сильнее его действие! Шопенгауэр утверждал, что книги, писавшиеся «для публики», вообще ничего не стоят. Только книги, писавшиеся первоначально для самого себя, нужны и драгоценны другим! Так и с письмами...

Приведенное выше письмо неотразимо в его жутком заключительном выводе: о виновности *вс́ей России* в постигшей ее катастрофе. Равным образом неоспоримо перенесение тяжести заслуг покойного А. И. Гучкова в эпоху, предшествовавшую 3-й Думе: время земских съездов. Даже злейший, непримиримый враг Гучкова, Витте, — и тот признавал, что «земские съезды выдвинули Гучкова».

В. А. Маклаков в своих воспоминаниях, печатавшихся в «Современных записках», привел недавно слова «левого европейца», профессора М. М. Ковалевского, сказанные осенью 1905 года: «Я видел на съезде только одного государственного человека: это Гучков».

Но ведь Гучков поддерживал тогда власть! Не сойди он тогда с этого пути, пути 1-й Думы, многое было бы иначе.

Скажут — «вредный Государь» слишком мешал... Да, политик пересилил в Гучкове монархиста. Но что-то еще скажет историк!

Гучков постепенно разочаровывался и отходил от монархии, а между тем именно вторая, думская, половина царствования была как раз наиболее плодотворной. Здесь основной нерв спора.

Россия не то что «любила Государя», но не могла вдруг и сразу без него обойтись. Она жила и работала в атмосфере монархии. Мне возражают: «Гучков стоял за монархию — против монарха».

Но можно ли, беспристрастно говоря, приравнивать Николая II к Петру III? 23-летнее царствование последнего Государя было временем блистательного экономического подъема России. Он дал народное представительство. При нем двинулось — быстры-

ми, «ударными» темпами — русское просвещение, крестьянское хозяйство, переселение. Не только монархия вообще, но и монарх Николай II служил благу России. Россия расцветала при нем. «Но вопреки ему самому...» И это несправедливо.

Не обладая чертами самодержца, покойный император обладал всеми нужными данными конституционного Государя. «Вопреки ему самому» его тянули в самодержцы, и это несоответствие бывало тягостным. Правда, «мистика» самого Государя также склоняла его к упорству, к сопротивлению конституции, но его натура была гибкой, податливой; все препятствия, которые были в нем, — всегда преодолевались. Во имя России Государь терпел у власти — годами! — и неприятных ему людей! Витте и Столыпин были в этом отношении куда нетерпимее, ревнивее к людям! Куда завистливей Государя! При этом нельзя забывать, что выбор Столыпина — из губернаторов — прямо в министры и чуть не сразу в премьеры, был личным выбором Государя.

Государь пошел бы — и шел всегда — на любые жертвы, которые потребовала бы Россия.

Зигзаги, падения, колебания, роковое влияние императрицы, тягостное для самого Государя, — да, все это было и все это устремляло к гибели... Но все это еще не было гибелью. Гибелью стало насильственное, во время войны, отречение.

Есть люди, которых раздражает наше непрестанное возвращение мыслью к прошлому. Отчасти они правы. Не следует приковывать самих себя к «трупам», даже и дорогим. Это пытка, приводящая всегда к сумасшествию. Но ясный отчет в том, что произошло, дать себе все же следует.

В февральские дни переставшая быть «Государственной» Дума пошла с улицей, а переставшие быть только военными генералы — с Думой. И Дума, и улица, и генералы не соображали, что это значит. Сообразил только совдеп. Но улице — простительно, Думе и генералам — нет. А Государь уступил именно им, вовсе не улице! Как раз в отречении (и после него) он показал себя наиболее сильным, даже преображенным.

Почему же теперь говорить, будто главная вина — на династии? Императрица — даже если считать ее главной виновницей — еще не есть династия; династия боролась с ее влиянием. Династия оказалась только не готовой к исторической импровизации — да! Великий князь Михаил Александрович был захвачен отречением брата врасплох, и выборные «лучшие люди» убедили его подписать составленный им наскоро документ, который В. А. Маклаков в своем блистательном французском очерке о русской революции (изд. Пайо, 1927 год) называет «безумным», «странным», «почти преступным».

Лично А. И. Гучков был против отречения великого князя; но в этом втором отречении была уже та неизбежность, которой не было еще в первом. Во всяком случае, так давно подготовлять отречение Государя и до такой степени не предвидеть его последствий — было жесточайшей ошибкой.

1936

ЛЮДИ, ДЕЛАВШИЕ ИСТОРИЮ

Трудно ушибленному забыть о своих ушибах, а увенчанному — о своих лаврах!

Люди, «делавшие» историю, всегда склонны поэтому, в воспоминаниях, сознательно или бессознательно, чуть-чуть «подделывать» эту историю — оправдывать свои действия (или свое бездействие!). Обыватели же, «пострадавшие от истории», огулом ругают — всех.

Поток читательских писем, вызванных спорами о нашем прошлом, разбивается на два самостоятельных рукава. 1) Военные доказывают, что во всем виноваты штатские. 2) Штатские выдвигают, каждый по-своему, прямо или между строк, свою собственную кандидатуру на звание «самого блестящего человека в эмиграции». И обнаруживают при этом в письмах (правда, задним числом!) — блестящую проницательность... Те и другие сливаются — в жестоком осуждении эмигрантов, носящих крупные политические имена...

А между тем, как пишет мне из Белграда один из виднейших и благороднейших участников нашей недавней истории, «белое движение должно было начаться при Временном правительстве и *против него*». «*На следующий же день* после февральской революции должна была бы начаться контрреволюция. Между тем потеряны были доро-

гие первые недели и даже месяцы, когда можно было бить, так сказать, sur le vif... А большинство из тех, кто тогда уже по существу был настроен контрреволюционно, помогал дурацкому, воистину, спасанию революции. Всего более и всего раньше обязаны были начать работать в этом контрреволюционном направлении А. И. Гучков и князь Г. Е. Львов. Последнему мешало его нелепое народничество, а что мешало первому?»

Не хотелось бы возвращаться к спорам о Гучкове, принявшим столь острый и тягостный характер, но тут я должен все-таки возразить.

При всем своем разочаровании в революции Гучков не мог броситься с первых же дней в борьбу с нею. А если бы даже и бросился? Ни один человек *за ним* в эту борьбу не только не пошел бы, но просто бы даже не двинулся.

Если теперь, после стольких искупающих лет изгнания и честной, упорной борьбы А. И-ча с угнетателями России, даже и теперь, и то! — около его имени закипает, справа, горячая смола ненависти, то что же вспыхнуло бы тогда? Ведь тогда еще был свеж приказ военного министра революции, наградивший орденом — вынужденно, но наградивший — первого солдата, убившего своего офицера!..

Слишком резко порвал А. И. Гучков со своим личным — и с нашим! — прошлым, в котором у него были — этого нельзя забывать ни в какой полемике! — крупные, исторические заслуги. Эти заслуги относятся ко времени борьбы с первой революцией. Гучков встал тогда за власть — не колеблясь. Как сильный и самостоятельный человек, он вообще всегда был свободен от интеллигентного

«трафарета» и первый из общественных деятелей стал помогать Столыпину.

Высокая гора был Петр Аркадьевич Столыпин! И был он человек самонадеянный, скажу больше, высокомерный, не любивший быть кому-либо обязанным. Но мало кем дорожил Петр Аркадьевич так открыто, так безбоязненно, как дорожил он А. И. Гучковым, его политической думской помощью. Поэтому не только не разделяю злобно-непримиримой ненависти к Гучкову, но не устану подчеркивать его заслуг — в дни и годы близости к Столыпину.

Скажут: тут-то и была самая спорная часть столыпинского наследства — Дума!

Достаточно было, однако, находиться хоть бы на государственной службе в России до Думы и при Думе, чтобы отчетливо оценить громадное и полезное значение перемены. Результаты первой и второй половины царствования несравнимы. С Думой поток свежего воздуха ворвался в деловые, но окостенелые петербургские канцелярии. «Народное представительство, — говорил Бисмарк, — замечательное возбуждающее средство для господ чиновников». Открытая общественная критика заставляла готовиться к ней, пересматривать все заведенные порядки, переоценивать по-новому и людей и традиции. Даже если считать, что Дума должна была представлять собой только «мнение» русской земли, а власть и направляющая работа должны были оставаться за царским правительством, и то! — нельзя было не видеть громадного нравственного и делового роста, при Думе, даже этой «казенной» работы... Поли-

тическое, да и нравственное значение Думы, разумеется, не исчерпывалось влиянием ее на правящих. В Думе был залог роста всей вообще русской — военной, хозяйственной и культурной — мощи...

Первые дни войны и всенародного подъема показали, какие великие возможности сближения Петербурга (власти) и России (земщины) таила Дума.

Нужно было поистине староверческое, глухое упорство последних правящих сановников, избранных зловещим, фатальным жребием, чтобы отбросить даже и эту патриотическую, правую Четвертую Думу в левый, враждебный лагерь! Оттолкнули, замкнулись в непримиримой ненависти, испробовали — вместо примирительного, европейского, столыпинского пути — свой, черный, *узкоколейный!* И привели — к бездне. Эти сановники разделяют с Думой ее вину в том, что вспыхнула революция.

Революция прервала и исказила поступательный ход русской истории, но предшествовавшие ей годы были годами блестящего развития, «просперити».

По поводу оценки мною деятелей той эпохи, белградское письмо ставит мне на вид следующее: «Вы преувеличиваете размеры Витте. Но даже если с вашего изображения скостить и 75 процентов, останется очень много. Витте был гениальный администратор, именно администратор, а не политик. Столыпин же был не столько администратором, сколько политиком, и, как политик, *он превосходил Витте.* У Столыпина было непосредственное чутье революции, ее опасности, чутье *борца.* Витте умел маневрировать. Столыпин же умел бороться. Даже его ошибки были ошибками борца.

Именно как борец он импонировал Гучкову, который сам был борцом, но низшего порядка».

С этим спорить трудно, да и незачем: правда — выпирает из этих слов моего оппонента!

Витте и Столыпин. И тот и другой делали настоящую русскую историю именем царской власти и опираясь на ее силу. Кроме них, действовали и другие. Но на расстоянии, в отдалении от горного хребта, всегда виднее его вершины. Вблизи, в горной тесноте, труднее отличить именно эти вершины от соседних, соперничающих с ними гор, теснящихся тут же, ревнивых, поочередно освещаемых солнцем либо затуманенных облаками... Так и современникам, даже сотрудникам, трудно по-настоящему оценить, среди государственных деятелей, людей подлинно исторических... Потомству — они виднее. В отдалении фигуры их вырастают, уже неоспоримо, над общим горным массивом.

Две вершины. В борьбе с революцией Столыпин превосходил Витте — и морально, и стальным темпераментом. Зато у Витте больше было разнообразно творящей, неразборчиво плодовитой, жизненно буйной силы, расточавшей — пусть даже и хаотическую, но всегда поражавшую своим богатством, возбудительным жаром — *инициативу*. Столыпин был рыцарственнее, дисциплинированнее, но беднее. И во многом — в области крестьянской земельной реформы и прививки к русскому Государственному строю Думы, народного представительства — Столыпин продолжал и исправлял Витте, бросившего первые семена — наспех, полусознательно.

Лучшая из знакомых мне сравнительных характеристик Витте и Столыпина дана — и подробно,

блестяще развита — Петром Бернгардовичем Струве в сборнике «Люди, делавшие историю» («Menschen, die Geschichte machten», Wien, 1931). Заимствую оттуда, кроме названия этого очерка, еще несколько очень верных, а между тем сравнительно слабо подчеркнутых до сих пор черточек:

...Столыпин был нравственно серьезнее Витте. Он принадлежал к старой русской знати не только «кровью», но и всем своим складом — властным, сословно гордым, внутренне благородным. Как и Витте, Столыпин ни на йоту не был чиновником, зато был насквозь «служилым человеком». Чувство долга перед царем и родиной, начало верности, дисциплинировали его душу...

Но у Столыпина были — в отличие от Витте — крепкие и стойкие политические убеждения, вынесенные из жизненного опыта, было знание русской деревни, русской провинции, был ораторский боевой талант...

Таким образом, отдавая решительное предпочтение Столыпину, П. Б. Струве, к счастью, далек все же от того, чтобы ставить Витте перед ним «на колени», как это у нас с некоторых пор повелось...*

---

* Кстати, в воспоминаниях дочери П. А. Столыпина, печатавшихся в «Возрождении», был приведен невероятный рассказ о том, будто отставленный Витте, приехав к премьеру Столыпину с просьбой не допускать переименования в Одессе «улицы его имени», стал перед Столыпиным на колени и получил все же отказ. Допускаю, что Витте мог в разговоре, со свойственным ему преувеличенным жаром, *сказать*: «Прошу вас на коленях». Но чтобы он встал действительно на колени — не допускаю ни на минуту. Думаю, что дочь, передавая рассказ отца, тут спутала «слово» и «дело».

6 Зак. 3475

Струве отмечает и некоторую узость столыпинского национализма (в польском, например, вопросе). Политически узок и неправ бывал Столыпин (замечу от себя) и в своих столкновениях с наместником, графом Воронцовым-Дашковым, ладившим с кавказскими национальностями и тем поднявшим снова на имперскую высоту русское имя. Несомненно, Витте был в национальных вопросах много шире... Витте был вообще свободнее, проще Столыпина. В отличие от Столыпина Витте никогда и ни перед кем не затягивался в официальный мундир, застегнутый на все пуговицы, и, как начальство, был, во всяком случае, неизмеримо приятнее, доступнее и живее. Поза, свойственная Столыпину, — и в политике, и в отношениях к людям — была органически чужда графу С. Ю. Витте...

Интереснейшая статья П. Б. Струве о людях, делавших нашу историю, заключает в себе, кроме характеристики Витте и Столыпина, также ряд ценных указаний на различие их подхода к крестьянскому и земельному вопросам. Но это уже особая тема, несправедливо почитаемая у нас «скучной» (скучной — только ввиду неумения людей, обычно пишущих на эти темы, живо к ним подойти). Не буду сейчас в эту область вдаваться. Скажу только, что и Витте и Столыпин потому-то и были подлинными государственными людьми, «горными вершинами» нашего недавнего прошлого, что они не боялись «скуки» крестьянского вопроса. Ибо этот вопрос был для России куда важнее и Думы, и финансов, и кадетов с националистами!

1936

БУРБОНЫ И ОРЛЕАНЫ

Недавние политические выступления великого князя Дмитрия Павловича будят одно очень старое воспоминание.

Относится оно к первой половине 1918 года, когда в Петербурге, а затем в Москве образовался противобольшевицкий Национальный центр из людей самых разнообразных политических толков.

Председателем петербургского центра скоро оказался, без всяких выборов, просто в силу своего жизненного (неполитического) калибра, крайний правый и монархист Владимир Федорович Трепов. Московским центром руководил кадет, профессор П. И. Новгородцев. Однако между обоими центрами никаких трений и расхождений не было: перед нахлынувшей на родину волной дикого, безымянного варварства все разногласия культурных русских людей тогда еще умолкали.

После двух-трех предварительных собраний, устроенных Кривошеиным у меня на Сергиевской, заседания петербургского центра стали происходить на квартире у Трепова. Летом того же года Владимир Федорович заплатил за них жизнью: был расстрелян большевиками. Но и без этого сияющего мученического венца личность его осталась бы для многих, знавших его в ту пору, окруженной ореолом властного и гордого человека, очень умного и с бесстрашной твердостью преданного России.

По предыдущей своей деятельности Трепов никак не мог считаться центральной политической фигурой. Крайний правый, боровшийся временами в Государственном Совете даже против Столыпина, он не привлекал к себе особых симпатий. Но из своей борьбы со Столыпиным он вышел классно, красиво. Уволенный — без просьбы о том — в заграничный отпуск, Трепов вовсе подал в отставку. «Жизнь моя принадлежит королю, но честь моя принадлежит мне», — говорили в таких случаях французские роялисты. Разумеется, Трепов не перешел в оппозицию, да к тому и не было оснований. Но он ушел от политики и занялся частной банковской деятельностью. В этой деловой сфере он сразу же занял влиятельное положение.

От дел люди всегда и везде умнели, ближе соприкасаясь с подлинной жизнью, чуждою прикрас и условностей. А Трепов, со свойственною ему энергией, взял от деловой школы больше, чем кто-либо. Даже в волевой вообще семье Треповых, делавших фантастические карьеры благодаря редкому в русских людях сочетанию бурного, неукротимого темперамента и неизменно ясного здравого смысла, Владимир Федорович выделялся своей мертвой хваткой, стальной решимостью, цельностью своих суждений.

— Барс! Леопард! — так характеризовал его, по секрету, умница-Кривошеин, не очень-то любивший Владимира Федоровича, но сознававший, что именно этих треповских черт характера ему-то самому и не хватало, чтобы стать, уже неоспоримо, первым человеком у русской власти в надвигавшееся смутное время.

Революция довершила политическое образование В. Ф. Трепова. Приходилось не раз быть свидетелем того, какое внушительное впечатление производил он, например, на появлявшихся в Национальном центре кадетов. А кадеты бывали видные: П. Б. Струве, барон Нольде, М. С. Аджемов, позднее — Д. Д. Гримм. При этом Трепов ни к кому не подыгрывался, ничем из своего политического облика не поступался. Просто — перед ужасом большевизма — вопросы, которые могли нас разделить, тускнели, куда-то проваливались.

Споров — монархия или республика? — в Национальном центре не возникало. Настойчиво, хотя и безуспешно, добивались от немцев помощи освобождению Государя; через князя Б. А. Васильчикова держали близкую связь с великим князем Михаилом Александровичем. Но очередные политические заботы дня были еще далеки от монархии.

Раз только, помню, барон Б. Э. Нольде, служивший наиболее постоянной живой связью нашей не только с иностранными дипломатами, но и с русскими *левыми* политическими кругами, полушутя рассказывал как-то в собрании, что и в левой среде, еще не вполне опомнившейся от жалкого крушения Учредительного Собрания, начинает крепнуть сознание жизненного значения для России исторической, царской власти.

Нольде прибавил, что его левый собеседник, явно обучавшийся политической мудрости по французскому трафарету, так закончил свои размышления о русской монархии:

— Конечно, на восстановление у нас в России Бурбонов мы, левые, несогласны, но на Орлеанов — пожалуй...

— Да кто же и где же они, эти русские Орлеаны? — недоумевающе спросил Н. Н. Покровский, последний царский министр иностранных дел (столь случайный в этой роли при всех его бюрократических дарованиях).

Загадочная усмешка В. Ф. Трепова — и его тихий, но серьезный ответ Покровскому:

— Наши Орлеаны? А Дмитрий Павлович?

В те далекие времена трудно было бы привести доказательства «орлеанизма» великого князя Дмитрия Павловича, — кроме разве что высылки его в Персию после убийства Распутина. Но, назвав это имя, В. Ф. Трепов несомненно обнаружил тогда и человеческую и политическую проницательность. Теперь доводов у него было бы больше...

В те дни не были бы еще возможны нынешние позорные попытки реабилитировать Распутина. Душевное благородство побуждений великого князя, его близкий к отчаянию, но внушенный бесспорным патриотизмом жест участия в гибели старца вызывали тогда сочувствие и уважение даже тех, кто считал этот поступок ошибочным. Гнусный червь точил самый корень монархии! При безупречной чистоте царской семьи грязная фигура Распутина, все его вызывающее поведение были нестерпимым надругательством над служилою русской честью; а честь (не устану повторять эти слова Монтескье!) — главный движущий принцип монархии, ее жизненный корень.

Но все-таки насколько было бы лучше, если бы Распутин погиб не в доме князя Юсупова, а несколькими годами раньше — по рецепту ялтинского градоначальника генерала Думбадзе!

В показаниях Белецкого верховной следственной комиссии приведена эта изумительная — и малоизвестная — телеграмма Думбадзе, посланная шифром на имя министра внутренних дел Н. А. Маклакова: «Разрешите, чтобы Распутин завтра случайно погиб при переезде морем на катере в Ливадию» (цитирую по памяти, но смысл точный). Телеграмма осталась без ответа, и посылать ее, конечно, не стоило: надо было уж брать вину на себя...

1936

ПОД ПАСХУ — У ТОЛСТОГО

В 1901 году, в начале Страстной, готовясь к студенческим государственным экзаменам, получил я в Петербурге телеграмму из Тифлиса от моего отца: «Поезжай к Толстому. Проси у него “Хаджи-Мурата” для нового, первого на Кавказе еженедельного иллюстрированного журнала. Разумеется, любые условия приняты».

Телеграмма меня огорошила. Отец легко увлекался издательскими и литературными фантазиями. Когда-то он издавал на Кавказе — не без задора — сатирические журналы «Гусли» и «Фаланга»; переводил — для души — грузинских и французских поэтов; носился с мыслью об иллюстрированном еженедельнике «Аргонавт». Зная его дружеские отношения со многими богатыми людьми в Тифлисе, я ни одной минуты не сомневался, что для получения новой кавказской повести Толстого в кавказский журнал обеспечены *какие угодно деньги*.

Но что же могло бы подтолкнуть графа Льва Николаевича на такое решение? Неожиданность предложения и любовь к Кавказу — единственно! «Толстовцем» отец мой не был. Будущий провинциальный журнал еще не издавался. А деньги... Графине Софье Андреевне, наверное, были уже сделаны все предложения, какие только можно придумать.

Известие о том, что Толстой вернулся к «Хаджи-Мурату» и закончил его, обошло уже печать всего

мира. Очевидно, оно-то и поразило пламенное воображение тифлисцев... Но на что тут можно было рассчитывать?!

Тем не менее отказать отцу я не смел. Приходилось ехать к Толстому в самой нелепой, явно неприятной для него и совершенно неподходящей для меня — студента! — роли «издателя», выпрашивающего и торгующего рукопись. Да еще после отказа Толстого от авторских прав...

Впоследствии, в Петербурге, мне довелось близко, по-настоящему, дружить с одним из сыновей Толстого, Андреем Львовичем, и приятельски встречаться с другими его сыновьями. Но в ту пору, ища подхода к Толстому или к графине, я вынужден был возложить все свои надежды — и то очень косвенные! — на одного только графа Дмитрия Адамовича Олсуфьева.

Олсуфьев был опекуном моего друга, художника Петра Нерадовского, ставшего затем хранителем музея Императора Александра III... А Нерадовский с сестрой и я с сестрой, тоже художницей, жили тогда целых два года вместе, на одной общей студенческой квартире. Вся «репинская мастерская» — веселая, шумная вольница! — толклась у нас ежедневно.

К Нерадовскому я и обратился. Узнал, что Толстой — в Москве, Олсуфьев — тоже; и в Страстную пятницу был у Олсуфьева в Москве с Нерадовским.

Граф Дмитрий Адамович сразу объявил, что фантазия о «Хаджи-Мурате» неосуществима; помогать ей он не взялся. «Если бы еще ваш отец был толстовцем, из близких... да и то!» Но он прибавил: «Пойдите все-таки к Льву Николаевичу сами, вы —

в студенческой форме, он вас примет. Очиститесь перед отцом и кстати побываете у Толстого. Что он вас не знает и что завтра — Страстная суббота, — пожалуй, так даже и лучше, необычнее».

Все это мне было — нож острый! Толстой всегда жил и живет в моем ощущении не только как первый, но как *единственный* художник мира, которому веришь, как самой Жизни! Осязаешь его вещи, видишь — свою же душу... Но идти к нему в дом, на него «смотреть», заведомо ему досаждая, казалось нестерпимо.

Случай устроил, однако, все к лучшему.

Утром я не застал дома графа Льва Николаевича. Возвращаясь на извозчике, увидел его в двух шагах от себя, идущим по улице, почувствовал на себе острый, проникающий «на три аршина в землю под тобой» взгляд... Смутился, рад был, что проехал мимо; решил «зайти лучше вечером».

А вечером — лакей во фраке, открывший на звонок в дверь, проводил меня в небольшую боковую комнату, где Толстой, зябко кутаясь в темный плед, на диване, диктовал или говорил что-то — невидимой для меня в первое время секретарше.

И тут — добрый гений, не раз ворожcounterвший мне в ту, первую половину жизни, спас меня из безвыходного, казалось, положения. Изумленное, оживленное восклицание секретарши, радостно назвавшей меня по имени.

Лед пробит! — я сразу «аккредитован».

— Откуда вы так хорошо знаете Юлию Ивановну?

А Юлию Ивановну Игумнову, художницу, подругу моей сестры, знал я действительно как близкого человека.

Толстой оказался не только ниже ростом, чем на портретах, но и вообще гораздо суше, мельче, худее. Исподлобья смотрели — как и на портретах — глаза, пронизывающие «по-волчьи»; но то были глаза волка затравленного, несчастного, внутренне испуганного страхом смерти. Теперь эти глаза, как бы пересиливая себя, смотрели на меня уже почти ласково.

Основное — и неожиданное — впечатление от того вечера у Толстого было: да ведь это — светский, уверенно светский человек! Почему-то раньше, думая о нем, я всегда забывал о Толстом — *графе*. Настолько он перерос в моем юношеском воображении свой титул, возвеличивавший других, но умалявший *его*. И как же было приятно наяву — столкнуться опять, еще один раз в жизни, с человеком большой жизненной «привычки», умелого обхождения с людьми, искусства незаметно сводить любое разногласие, любой конфуз — к чему-то незначительному, взаимно даже как бы условленному и естественному.

На вопрос о «Хаджи-Мурате» Толстой с притворной, как мне тогда показалось, но, может быть, и искренней усталой грустью ответил: «Нет, я это опять забросил, и думаю — совсем уже! К чему... Надо думать о смерти, будить в людях совесть...»

То, что он диктовал (кажется, диктовал!) в тот вечер Юлии Ивановне, было обращением к Государю. Называлось — «Царю и его помощникам». Толстой несколько раз принимался за эту тему.

Игумнова стала на меня жаловаться. Я «готовился» тогда профессорами к кафедре государственного права. В полезности властного государственного начала сомневался так же мало, как в собственном здо-

ровье! Моральная проповедь била мимо моего сознания, казалась бедной, скучной, насильственной, неинтересной — как вегетарианство или проповеди баптистов. Друзья-художники, гордясь моей «ученостью», всегда корили за «сухость». Хорошо еще, что я, как и многие тогда, демонстративно не держал экзаменов в 1899 году, после избиения студентов нагайками, потеряв год и стипендию.

— Повлияйте на него, Лев Николаевич. Охота ему держать и теперь какие-то государственные экзамены! Пусть откажется от своей гиблой юриспруденции!

Но ни спора, ни проповеди никому в тот вечер не хотелось. Толстой только качал укоризненно головой; но предпочел перевести разговор на репинскую мастерскую, знакомых художников, толки об их искусстве, на живопись...

С теми же лихорадочно блестящими глазами, таившими мучительную внутреннюю раздвоенность, боль и страх (его в тот вечер еще и знобило!), он все-таки оставался приветливым, любезным, не отпускал. В конце концов (Страстная суббота!) Игумнова отпросилась побродить со мной по церквам и площадям Москвы. Ласково, опять-таки очень посветски, Толстой проводил нас, сказал на прощанье: «Рад был; увидимся».

Я вышел счастливым. Вместо нелепого положения и причинения большому человеку мелкой досады все обошлось так хорошо и просто. Бродили по Москве. Море голов, свечи. Тьма, но весенняя. Предпасхальная радость.

На другой день послал телеграмму в Тифлис — о неудаче и вернулся в Петербург, к своим книгам.

Но рассказывать о Толстом не любил. Берёг «про себя» это, пускай незначительное, но смутно-хорошее воспоминание.

Теперь все подробности уже стерлись в памяти. Ничего не осталось и от России тех прежних, милых, наивных дней!

А вот вспомнилось: Страстная суббота... Толстой, что-то возбужденно писавший царю, «навинчивавший» себя на обличения... И царь, всегда сохранявший искреннее *преклонение* русского человека перед Толстым, нашедший такие человеческие слова по поводу смерти отлученного от церкви писателя... Царь, не веривший никому из своих помощников, бывший «их отчаянием», но в гибели своей возвысившийся до сияющего мученического венца!

Перед этой трагедией как побледнела — и религиозно и политически — трагедия жизни и предсмертного «ухода» Толстого!

Но ничего этого не знал, не видел впереди доверчивый русский студент, стремившийся в «помощники» к царю — и с волнением входивший к Толстому...

Журнал, затеянный отцом, преследовала неудача. Вышло всего несколько номеров, скорее походивших на еженедельную газету. Помнится, Дорошевич присылал из Москвы свои фейерверочные, сверкавшие фельетоны, но и они не помогли «Аргонавту».

А толстовского «Хаджи-Мурата» все мы прочли, с захватывающим восторгом, уже много позже.

1933

А. Ф. КОНИ

Как всякий настоящий мудрец, он соединял в себе черты стоика и эпикурейца.

Сенека, с лицом голландского шкипера, хмурым и выцветшим, блиставший яркой и ясной речью!

Деятелен он был, как европеец, но втайне разделял азиатскую веру в то, что высших благ на земле только два: почет и мудрость.

Судья? Сенатор? Да, конечно, он был и тем и другим: нелицеприятный, доблестный, справедливый. Был опасным, красноречивым обвинителем. Но более всего был он почетным академиком по разряду изящной словесности. Отменно тонко и умно, с блеском поговорить о литературе, о русском искусстве, его традициях, его деятелях, вспомнить, пофилософствовать, пошутить — вот где было его сердце! Вот в чем он не имел соперников.

Охотно, не торопясь, потчевал он своих собеседников и читателей добрым, старым, хорошо выдержанным вином своего жизненного и литературного опыта. В этом вине изредка — в меру! — вспыхивали огоньки обдуманных острых слов... И как же бывал Кони доволен, когда попадал на ценителя!

Датский философ Кьеркегор спрашивал: «Что может сравниться с радостью знатока, пьющего хорошее вино?» И отвечал: «Вероятно, радость самого вина, которое должно же чувствовать, когда пьет человек понимающий!»

Искусником слова и сердцеведцем блистал Анатолий Федорович во всех своих публичных речах, докладах, литературных чтениях — даже в юридических лекциях, хотя как «доктор прав» он был наименее интересен.

Незаменим и весел бывал на петербургских званых обедах: щедро платил хозяевам чистым золотом неистощимых рассказов!

С глазу на глаз Кони бывал чаще грустен. Видывал я его сначала как юный литературный крестник (по стихотворным пушкинским конкурсам), а потом — увы! — уже как «старый» приятель.

Помню, накануне бегства моего из Петербурга Кони говорил мне, что непременно напишет книгу об императоре Николае Первом — «замечательном и неоцененном как следует Государе Российском». Помню еще, как, при отклонении разговора на жгучие тогда темы, он с упреком, раза два, при упоминании моем об Украине настойчиво поправлял: «Малороссия». В этом прославленном либерале жил всегда упрямейший консерватор! Но в этот последний вечер в нем сильнее обыкновенного чувствовалась крайняя неохота вникать в политический ужас кипевших кругом событий.

Студентом — он видел в России крепостное право. Лучшие свои годы отдал эпохе великих реформ императора Александра Второго. Был усталым стариком уже в конце прошлого столетия. А после того — пережить еще все тревоги царствования императора Николая Второго! Всего этого для Кони казалось уже «достаточно». И странно было бы корить его тем, что он остался в России при большевиках.

Но в нем всегда чувствовалась явная нехватка политического темперамента, какая-то природная принадлежность к «партии мирного обновления». А в министры юстиции, куда его прочило общественное мнение, не попал он не столько из-за своего либерализма, сколько потому, что в нем не было мужественной, властной крепости, быстрой решимости. Он и во власти чувствовал и по-настоящему ценил только один почет.

Помню рассказ П. А. Столыпина о том, как он приглашал Кони в свой первый кабинет министром юстиции. Кони долго колебался и при последнем личном свидании согласился; затем позвонил по телефону, чтобы отказаться; на просьбу «подумать» ответил, по почте, подробным письменным согласием. Но не успело еще дойти письмо, как от него же пришла городская телеграмма — с отказом...

— И слава Богу! — прибавлял с улыбкой Столыпин. — Подумайте, министр — с таким характером!

Вспоминаю не в осуждение: Кони не был бойцом и политиком. Но это был живой, умный и, пожалуй, самый «многогранный» (его любимое слово!) из наших культурных деятелей. В нем было много бережной, стойкой любви к накопленным в прежние годы русским духовным сокровищам. И сам он — всем своим существом! — служил медленному, но неустанному, облагораживанию русской жизни...

1927

КАК ПЕТЕРБУРГ СТАЛ ПЕТРОГРАДОМ

Случилось это для Петербурга неожиданно.

И в странном порядке: по докладу... министра земледелия.

Впрочем, в то время — 1914 год — доклады министра земледелия были особенные. Царь и царица тогда еще души не чаяли в Александре Васильевиче. Формально над Кривошеиным — по его же хитрой выдумке и долголетней привычке играть вторую, а не первую скрипку — был посажен председателем И. Л. Горемыкин. Но тогда еще оба премьера ладили. Все последние месяцы перед войной и первые недели войны Кривошеин «делал» политическую погоду. Так думал по крайней мере Петербург, привыкший к плетению своего тонкого кружева и отвыкший от сокрушительной жестокости русской жизни, таившей — бездну.

В первый же военный доклад Кривошеин взял с собой к Государю, кроме обычного вороха дел, вперемежку — пустых и важных, мой томик Тютчева с отчеркнутыми строчками его славянских стихотворений.

Книжечка Тютчева ко мне не вернулась. Славянские настроения крепли...

С одного из последних докладов Кривошеин вернулся сияющий:

— Составьте немедленно письмо от меня Горемыкину. Государь повелел переименовать Петербург

в Петроград. Надо оформить и опубликовать это высочайшее повеление.

Я замер:

— Какой ужас! И какая безвкусица!

Лицо министра потемнело, шрам на щеке задергался.

— А ваши славянские чувства? Тютчев?

— У Тютчева этого нет, Александр Васильевич.

— Все равно. Петроград есть у Пушкина. Государь давно этого хочет. Военные круги тоже. Разговаривать некогда, пишите.

Письмо к председателю Совета Министров с сообщением о новом высочайшем повелении поехало. Тем временем Кривошеин успел поделиться новостью с другими сотрудниками, своими «по земледелию». И был озадачен, не найдя ни в ком радости. Особенно недоброжелательно отнесся к новости граф П. Н. Игнатьев, осторожно, но твердо упрекавший Александра Васильевича: как это он «не отговорил» от этого Государя. Напрасно добрейший и, видимо, жалевший в эту минуту министра Дм. Н. Любимов громко декламировал из «Медного всадника»:

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом...

Новость разнеслась быстро. Из министерства иностранных дел позвонил ко мне барон Нольде. Несмотря на обуревавшие его, а в особенности Трубецкого, славянские чувства, оба допрашивали: «Как это случилось?» И ругали: не мое ли закулисное авторство? «Как мог Александр Васильевич?»

А у меня, по привычке к стихам и шуткам, на языке вертелось уже не тютчевское, а некрасовское двустишие:

Из слова благородного
Такая вышла дрянь!

Петроград... Что-то захолустное. И подражать плохим обруселым немцам, наскоро менявшим фамилии!

Вечером Кривошеин спрашивает:

— Не привыкли еще к Петрограду?

— Нет, Александр Васильевич. Немцы, наверное, смеются: воинственная мера!

— Вы правы. Переименовать надо было давно. Теперь это легче: есть настроение.

Дня через два Кривошеин рассказывал:

— Государь держится молодцом. Многие на него за Петроград нападают. Рухлов будто бы сказал: что это вы, ваше величество, — Петра Великого поправлять! — И знаете, как Государь ответил? Не рассердился, а отшутился: «Что же! Царь Петр требовал от своих генералов рапортов о викториях, а я рад был бы вестям о победах. Русский звук сердцу милее...» Правда, хорошо сказано?

— Сказано чудесно, а все-таки...

Петербург был недоволен. Его переименовали не спросясь: точно разжаловали.

Позднее, когда война обернулась гибелью, — переименованию Петербурга стали придавать какое-то мистическое значение: сглазили, мол, столицу! «Роковая незадачливость Государя!»

После «Ленинграда» такое отношение стало уже всеобщим. Но тогда, в сиянии первых дней военного подъема, слово «Петроград» промелькнуло хотя и неприятной, неловкой, но не зловещей тенью.

1930

ТРИ НЕГАТИВА

В добром старом императорском Петербурге шутку любили. А шутка с налетом легкого политического озорства, да еще в стихах, да за хорошим обедом, шла прямо к сердцу слушателей.

Блиставшие несравненной живостью и остроумием стихи Мятлева воскрешают и теперь прошлое с драгоценною для историка свежестью. Они переливают всеми красками светского и придворного Петербурга! Этой беспечной, нарядной, единственной в мире оранжереи, где избранным позволялось все.

Даже такая неслыханная, барская роскошь: шутя — бить по своим.

Любили в Петербурге и другую шутку — застольную, «бутылочного цвета с искрой». Тонкую и задорную, в стихах и в прозе, полную кивков и намеков. В ней были «легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор...»

Но все это было неразрывной частью только данного вечера.

Экспромты — одуванчики!
Их прелесть — на мгновение,
Пока звенят стаканчики...
А там их ждет забвение.

Редко-редко в эти беспечные выходки вкрадывалась общая мысль. Отпечатывалась общая жизнь...

В щелку оранжереи врывался тревожный ветер.

Тогда выходила — «клякса»!

Как короткие вспышки магния, стихи давали — пускай мельчайший, крохотный, но бессознательно-верный *н е г а т и в* эпохи.

А слушатели этого не любили.

Но странно: все удавшиеся, любезные шутки бесследно испарились из памяти. А вот три «кляксы» — три негатива — помнятся до сих пор.

В сущности, это были три предостережения подлинной русской жизни.

Из них первые два были услышаны.

1903 год... Старый порядок упорствует. Японской войны и политической весны еще нет. Властвует Плеве.

Витте упрятан, за либерализм, в председатели Комитета министров: посажен на питание «вермишелью».

Политические старообрядцы исповедуют во всеуслышание «единые ежовые рукавицы».

Впрочем, на заседаниях Комитета министров в Мариинском дворце слышатся иной раз и вольные речи.

То Витте досадливо отмахнется от какого-нибудь правого оратора — государственного контролера Лобко — усталым восклицанием: «Такие вещи, ваше высокопревосходительство, хорошо говорить здесь, в Петербурге и во дворцах. А суньтесь-ка вы с ними в жизнь!»

Или Дурново — товарищ министра, заведующий полицией — брякнет что-нибудь откровенное... И начальство полушутя, полуопасливо смотрит на нас, юных чиновников: «Распропагандирует мне их Петр Николаевич!»

В Петербурге министры, даже и правые, часто бывали шире и либеральнее бюрократов средней руки, «олимпийцев второго ранга». Эти уже никаких вольных мыслей себе и другим не позволяли.

Хороший тон требовал в их среде славить ежовые рукавицы.

После одного такого славославия, за обедом, присутствующие неожиданно услышали от самого младшего из гостей такой — очевидно, понравившийся ему самому спич:

Закон политики — простой:
Чтоб было все в порядке,
Железной управляй рукой,
Но в бархатной перчатке.
У нас — навыворот пока:
В деревне и в столице,
Везде бессильная рука
В ежовой рукавице.

Тогда — вышло невежливо.

А позже — вспоминали и улыбались.

Второй негатив. Весна 1906 года.

Начало «конституционного опыта Думы», как принято говорить теперь. И сразу же — мелкий, но нашумевший тогда конфуз. Первый блин комом, по русскому обыкновению.

«Первая Дума, слава Богу, будет у нас крестьянская», — утешал своих министров тот же Витте накануне своего увольнения из премьеров. Это «слава Богу» никогда не удавалось русским премьерам. Не удалось оно и на этот раз.

Дума вышла серая по составу, но ярко-красная политически.

И в эту-то революционную, бурлившую Думу первым законопроектом, внесенным от имени правительства, оказался законопроект «об отпуске средств на устройство оранжереи и прачечной в Юрьевском университете».

Вышло это случайно, по недосмотру. Состав министров был сменен за день до открытия Думы. Новый министр народного просвещения Кауфман подписал это представление в порядке спешной очередной «вермишели» и никак не думал, что оно окажется эффектным «номером первым».

Но левая печать злорадствовала вовсю.

Тогда и за одним «правым» обедом слышал я такую стихотворную шутку:

«Земли и воли! Всем! Скорее!»
— «Нет-с, это бред горячечный,
Вот вам проект оранжереи
И смета прачечной».
В дурацком этом диалоге
Не знаешь, что тревожнее.
Грубей — медведи из берлоги;
Но власть — пустопорожнее!

Нашедшая себя — со Столыпиным — власть скоро и начисто опровергла это злословие.

Дума, хоть и подправленная законом 3 июня, оказалась сильнейшим возбудительным средством для чиновников. Предвоенный думский период царствования не случайно же совпал с яркой полосой расцвета правительственной энергии и с хозяйственным подъемом России!

Для служения родине власть располагала испытанным и богатым личными силами аппаратом, ко-

торый работал, как никогда раньше, на глазах у народного представительства. Иметь широкую думскую и общественную поддержку? Доброй воли к этому — в особенности, с общественной стороны — было немного. Но объективные условия для союза — были.

А уж лучшего, более обаятельного, более чуткого, более преданного долгу и величию родины Государя нельзя было выдумать! В сущности, по своему характеру он был создан для конституционной роли монарха: не имел крепкой воли всерешающего самодержца, но был, в одно и то же время, гибок — и царственен.

И ничего не вышло! Революция — хотя и спущенная с цепи, конечно, только войной — втайне подготовлялась раньше. Снизу — с упрямой и настойчивой злобой. Сбоку — по незнанию русской жизни и чрезмерной вере в идеи. Сверху — с мистическим, упрямым прекраснодушием.

Из лучших, благороднейших побуждений!

Каждый раз, когда в своих воспоминаниях доходишь до этого кануна общей гибели — и все, что вспоминалось «во здравие», оканчивается неизбежно «за упокой», — каждый раз испытываешь неодолимую горечь.

В книге Гурко «Царь и Царица» рассказана, без всякого укора, с полным достоинством придворного и верноподданного, жизнь и силы которого принадлежат трону, но честь и суждения независимы, — правда о чистом, но жутком ослеплении наверху.

А вот какие слова были произнесены в 1916 году, в чинном хорошем клубе, за поздним ужином немногих приятелей — там, где ничьи враждебные

уши не слышали, но зато и дружеские уши себе не верили! Общая мрачность сменилась общим отрезвлением и смятением:

> Все, что видишь сейчас, — не к добру,
> Это в шахматах часто бывает.
> Королева ведет всю игру.
> А король — просто мат получает.

Всего трагического ужаса этих слов мы даже не подозревали.

Чувствовалось, что уже сошли с рельс. Но еще не верилось, что летим в бездну.

1932

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗЕМЛЯ И СКИФЫ

Фрагмент статьи

Все мы думаем о России — кто сердцем еще не умер. Многие жаждут скорее туда вернуться. Все ищут объединения и здесь, между собою, — а главное, с родиной, с ее настроениями... Что «там, во глубине России»?

Но ни объединения, ни возврата домой нет, пока мы не поставим перед собой честно, во всей широте, самый темный, самый жгучий, самый простой и, вместе с тем, самый коварный вопрос русской жизни: земельный. Как быть с землей? И что на самом деле теперь «там» делается?

Надо освежать свои мысли и свои знания в этой области. Надо припадать ухом к земле — и слушать. Нужна не только интуиция (хотя значение интуиции огромно и недооценено в политике!). Нужно следить за фактами и цифрами, определять главные линии, *естественный уклон идущих событий к будущим,* все время сохраняя перед глазами общую историческую перспективу.

Еще недавно выдвигать земельный вопрос означало бы: всех расколоть. Но теперь наглядное обучение земельной премудрости со всею «скифскою» жестокостью проделано над Россией. Теперь и крестьянские, и городские, и наши эмигрантские мозги проясняются. И теперь, я думаю, полезно воскресить на один час, в нашей памяти, главные (только главные!) линии и общие (самые общие!) перспективы русского земельного вопроса.

«Власть земли» и «власть тьмы»: эти начала спокон веков стихийно тяготели над крестьянской Русью.

В политике, именем крестьянства и за его счет, орудовали чуждые ему — справа и слева — силы. Мужик если не одобрял их, то все же предоставлял им орудовать. Тяжелый на подъем, заброшенный экономически и культурно, он становился из равнодушного разъяренным только тогда, когда задевались его кровные *земельные* интересы. Тут он вечно и ревниво жаждал быть полным хозяином. Вечно, часто преувеличенно (порой до нелепости!) чувствовал себя утесненным. Эта стихийная тяга к земле, глухие земельные волнения проникают всю русскую историю, и только исторически можно понять многие мужицкие обиды и фантазии «о земле».

Не пойдем в глубь земельного прошлого. Остановимся на двух ближайших исторических гранях:

1) сейчас же после освобождения крестьян (60 лет назад) и 2) непосредственно перед последней войной (10 лет назад).

За этот полувековой пробег история дала уже по земельному вопросу свои отчетливые, решающие указания.

Вся площадь европейской России, пригодная для земледелия, — 197 миллионов десятин. После освобождения крестьян площадь эта распределялась так: 16 миллионов десятин — у крестьян, 5 миллионов десятин — у казны, уделов и монастырей и 76 миллионов десятин у частных владельцев.

Последующие полвека показали, что для *примитивного* крестьянского труда земли, доставшейся ему, оказывалось слишком мало. Для *слабого* помещичьего капитала земли, оставшейся за ним, — раз отнята даровая рабочая сила — чересчур много. И в последующие полвека земля неудержимо переходила из помещичьего в крестьянский земельный фонд.

В надел крестьянам отошла при освобождении почти вся земля, которой фактически они пользовались перед освобождением. «Отрезки», сокращения составили незначительный процент (4—5). Правда, что эти отрезки остались надолго занозой в памяти у крестьян и что государственные крестьяне получили больше земли. Но как-никак в *среднем* крестьянский надел при освобождении составлял на двор, на хозяйство (тогда насчитывалось всего 8—9 миллионов дворов) по 14—15 десятин. Прошло полвека, число крестьянских дворов почти удвоилось — и всё еще надельные земли использовались очень слабо: лишь малая часть земли ежегодно засевалась, и низкими были крестьянские урожаи.

Тем не менее все эти полвека говорилось о крестьянском малоземелье, и мужик действительно, реально страдал от этого малоземелья. Дело не только в том, что миллионы крестьян имели надел ниже среднего, нет. В русском безбрежье-бездорожье того

времени трудно было создаться интенсивной культуре, для нее не хватало многих нужных условий. Всеми привычками и приемами труда крестьян тянуло к простору соседних помещичьих земель. При барщине крепостной работал три дня в неделю на себя, три — на помещика. И раскрепощенному крестьянскому труду продолжало казаться, что его надельная земля лишь наполовину может поглотить его рабочую силу. Отсюда — инстинктивные поиски новой земли при слабом использовании прежней. Мнимый, но вечный земельный голод.

Небольшая часть ежегодного прироста крестьянского населения уходила в азиатскую Россию — творить там привычное для крестьян и великое для государства дело русской колонизации. Значение этого «отлива» для европейской России было невелико; значение этого «прилива» для пустынной окраины было огромно и благодетельно. Остальные сидели дома; медленно, терпеливо и упорно арендовали, обрабатывали и понемногу скупали, стягивали к своим рукам землю помещика.

К началу последней войны 40 миллионов десятин (более половины) помещичьей земли было уже куплено крестьянами: из них 18,5 десятины — с помощью Крестьянского банка, а 21,5 миллиона десятин — на собственные мужицкие сбережения. После крестьянских волнений 1905 года, вслед за неудачной японской войной, правительство передало крестьянам, путем льготной продажи, и все казенные земли европейской России. В итоге к началу войны крестьяне были уже хозяевами земельного положения. Им принадлежала львиная доля, более 80% всех полевых земель европейской России —

116 миллионов десятин; помещикам — только 36 миллионов десятин.

Крестьянское хозяйство было ниже, первобытнее, зато выносливее помещичьего; оно мирилось даже с явной невыгодностью труда. А хозяйничать на земле было в конце прошлого века часто невыгодно, особенно с тех пор, как на мировом рынке появилось в изобилии дешевое зерно из-за океана.

Но мужику — был бы оплачен труд, были бы сыты работники. А вот помещику приходилось оплачивать не только чужой труд, но и свои потребности, часто широкие, вытягивать из земли ренту, проценты и прибыль на затраченный или занятый капитал. И денег у помещика не было. Город с его банками и министерствами был слишком далек и от крестьянской земли и от усадьбы помещика, он поощрял больше свою нарождавшуюся промышленность. Россия вообще была еще слишком бедна капиталами для того, чтобы на обширной площади помещичьих земель развить настоящее, сильное, промышленно-капиталистическое хозяйство. Земля переходила в более грубые, зато более терпеливые руки.

Но близок был уже предел расширению крестьянского землевладения в европейской России. И чуялось, что главная задача не здесь, не в уничтожении уцелевшей полоски крупного культурного землевладения, а в улучшении крестьянского хозяйства.

Притом помещичье хозяйство, сжимаясь на меньшей площади, само по себе не только не хирело, а, наоборот, выигрывало, оно становилось все крепче, жизнеспособнее, производительнее. На меньшей площади скорее хватало денег, инициативы, знания.

Помещичье хозяйство всегда давало России сравнительно больше хлеба, чем крестьянское.

У него были лучше семена, лучше инвентарь, выше и разнообразнее севооборот, меньше пустовавшей площади, обильнее урожаи. С годами это расхождение в урожайности, этот перевес в пользу помещичьего хозяйства не только не ослабевали, а, наоборот, усиливались. Первое время после освобождения крестьян, когда и барское и крестьянское хозяйства немногим разнились по своей примитивности, урожайность помещичьих земель была на 15% выше крестьянских, а перед войной — уже на 25%. Если же взять только те помещичьи земли, на которых перед войной велось *собственное* помещичье хозяйство, т. е. вычесть арендные земли, на которых хозяйничали, в сущности, те же мужики, — то помещичье хозяйство оказывалось на 50% и даже на 60% выше крестьянского. Помещичье хозяйство давало лучшее (однородное) зерно *для вывоза*. Тогда как страна сравнительно крупного хозяйства, хотя и низкой урожайности, Аргентина, могла вывозить 63% своего сельскохозяйственного производства, Россия, страна крестьян, могла вывозить только 12% — и то в значительной степени благодаря наличию на рынке крупного сельского хозяйства. В интересах государства было сохранять и оберегать ценную полоску крупного землевладения. Но она и не нуждалась в искусственном сохранении. Происходил естественный отбор сильных и жизнеспособных хозяйств. Уцелевшие помещики крепли и богатели; они обстраивались, обзаводились скотом и машинами и впервые только еще начинали по-настоящему развивать передовое капиталисти-

ческое сельское хозяйство. Мы все помним расцвет перед войной помещичьего хозяйства — в особенности заводов: свекло-сахарных, винокуренных, крахмальных. Разнообразие и высота помещичьей культуры двигали все окружающее сельское хозяйство вперед, к технике и богатству. И в этой форме индустриализованное, капиталистическое русское хозяйство несомненно имело под собой несокрушимую экономическую основу.

Да, оно своим богатством еще могло *дразнить* крестьян соседей. Да, жива была еще легенда о безграничности помещичьего землевладения и мечта черного передела. Но экономическая реальность была *за* это, начинавшее расцветать, крупное и среднее хозяйство.

Здесь я должен сделать важную оговорку.

Процесс земельного расслоения к началу войны не был еще закончен. Еще значительная часть помещичьих земель ходила попросту по мужицким рукам в аренде и была, так сказать, предопределена к продаже. Переход этой земли в крестьянские руки несомненно запоздал. В начале войны своего собственного посева у помещиков было около 8 миллионов десятин, а арендного мужицкого около 12 миллионов десятин. Следовательно, из остававшегося земельного фонда крупных имений еще должен был произойти дальнейший отбор жизненно нужных для России крупных хозяйств. А для этого, как потом оказалось, в запасе не было уже времени...

В начале XX века явственно обозначились два важных явления: во-первых, крестьянский земельный хаос стал понемногу распутываться, из него начали выделяться отдельные устойчивые вла-

дения; во-вторых, пошел быстрее качественный подъем крестьянского хозяйства.

В несколько лет сбыт сельскохозяйственных машин увеличился в России в 5,5 раза, сбыт минерального удобрения — почти в 7 раз. Развилось травосеяние, пошли в ход промышленные культуры, крестьянское хозяйство стало разнообразиться, огромный скачок вперед сделало разведение мелкого скота и птицы, вывоз яиц и масла. На смену стеснительных связей общины явились и стали крепнуть свободная крестьянская кооперация, хозяйственные союзы мелких собственников (перед войной — 33 тысячи союзов, 11 миллионов членов).

Параллельно с этим шел еще более глубокий процесс обеспечения прав каждого отдельного хозяина на делаемые затраты и улучшения, шло оздоровление самых корней сельской культуры, создание мелкой крестьянской собственности, вывод отдельных хозяйств из первобытной чересполосной путаницы, из-под угрозы и обид передела. Начало XX века ознаменовано сильнейшей тягой к мелкой крестьянской собственности. В десять лет, перед войной, вышло из общины 3 миллиона хозяйств (20% общего числа), с площадью земель в 26 миллионов десятин; из них 1,5 миллиона дворов даже свели свои владения в округленные участки (отруба и хутора) на площади в 16 миллионов десятин. Все это было поставлено — пускай с рядом недочетов — на рельсы правильного хозяйства. Правительство усердно, хотя и с опозданием, помогало. Но само движение было не искусственным, а народным. Судите хотя бы по тому, что к началу войны оставалось неудовлетворенных ходатайств о выделе от

7 Зак. 3475

5 миллионов 700 тысяч крестьянских дворов: не хватало рук, землемеров. И после революции то же движение вспыхнуло с новой силой.

Пути естественного развития сельской России, таким образом, намечались. Преобладающий тип — мелкая крестьянская собственность, объединяющаяся в свободные сельскохозяйственные союзы. Вспомогательный тип — крепнущее на сокращенной площади крупное и среднее промышленно-капиталистическое хозяйство, сильное техникой, культурой, работающее на города и на вывоз и увлекающее за собой к сельскохозяйственным улучшениям соседнее крестьянство.

Быстро в этих условиях начала богатеть Россия в начале XX века. В несколько лет народный доход от сельского хозяйства удвоился: с 3 до 6 миллиардов золотых рублей в год.

И это было только еще начало. Доходность крестьянского и даже помещичьего хозяйства все еще по сравнению с западноевропейскою была крайне низкой. Наше сельское хозяйство только начинало еще расцветать. То был детский, но уже богатырский рост. Перспективы впереди были безбрежными. В красноречивых цифрах нашего сельскохозяйственного успеха словно звучало далекое, смутное эхо глубоких голосов *земли*, находившей нужные ей умелые руки.

Народ начинал богатеть. Острота земельного вопроса слабела.

Пришла война. Пусть на Западе ее называют Великой! В нас шевелятся совсем другие эпитеты... Война прервала это естественное развитие с его здоровыми политическими тенденциями.

Война оторвала крестьян-работников от земли, уменьшила сельскохозяйственную производительность, увеличила потребление, а главное, сосредоточила народную мысль на интересах сегодняшнего дня и на вопросах потребления, обесценила человеческую жизнь и ее культурные блага и ценности, сделала привычным насилие. Под трескотнею пулеметов пробуждались живущие в каждом из нас, дремлющие в нашей русской крови *скифы*. Скифы, которых воспел нежный Блок и о которых далеко не изнеженный старик Геродот писал много веков тому назад: «Скифы не поддаются никакой культуре».

Огромные численные жертвы были понесены русской армией. Слишком долгими и напряженными для народа оказались его усилия, при неясном сознании национальных целей войны. В солдатских массах, особенно в тылу, появилось резкое утомление войной. Это утомление в народе и полное политическое ослепление наверху, где произошел окончательный разрыв, образовали два враждебных лагеря, одинаково беспомощных, одинаково заблуждавшихся и оторванных от народа: старая власть и революционная интеллигенция, даже правое ее крыло — Государственная Дума. Их разрыв снял все шлюзы для стихийного напора снизу. Оттуда хлынула, ворвалась неорганизованная, бунтующая солдатская стихия. Она скоро отдала всю власть, через голову Временного правительства, в грубые лапы уже настоящих, закоренелых, не минутных только, а вечных, неисправимых скифов — большевиков.

По кличу «грабьте награбленное» стихия стала истреблять все, что могла. Так иногда озлившиеся

на своих, подлинных или мнимых, трутней, рабочие пчелы бросаются их истреблять — и сами, всем своим множеством, наваливаются и проедают весь накопленный раньше долгими усилиями мед: улей опустошен и гибнет.

Запрет с чужой собственности был снят. Помещичьи усадьбы разгромлены, накопленные в них сельскохозяйственные богатства растасканы в клочья. Затем пошло поравнение между крестьянами: отнятие у соседей побогаче скота, инвентаря, запасов, посевов, а в случае сопротивления — жизни.

Настало время черного передела, но передел этот лишь в слабой степени коснулся земель. Иногда, на короткое время, захватывались чужие засеянные поля, но делили и уничтожали, главным образом, готовое сельскохозяйственное добро. Чтобы поделить, размежевать, а тем более засеять вновь землю, нужна была затрата денег, труда и времени. Лишь позднее и медленнее пошло такое освоение земель, главным образом — помещичьих. Поля же, временно отхваченные у богатых крестьян сельской беднотой, часто вовсе не закреплялись за новыми владельцами — ни с помощью землемеров, ни даже просто долгим хозяйничаньем... Понятно, что у богатых крестьян сразу была отнята часть засеянных полей и что они сами скоро перестали сеять что-либо для продажи, а ограничивались тем, что им нужно было для собственного пропитания. Средняя площадь крестьянского посева быстро выравнивалась и опускалась вниз...

Революционный, пролетарский город, выдав с головой деревенской бедноте «помещика» и «кулака»,

забыл или не знал, что он скоро станет сам «на ножи» с русской деревней.

Русская статистика давно установила и подтвердила последней продовольственной анкетой 1916 года, что на город работал примерно в 30% помещик и в 70% крупный хозяин-мужик, имевший не менее 6 десятин посева, т. е. 15 и более десятин земли. Мелкие крестьянские хозяйства с трудом прокармливали сами себя. «Царство деревенской бедноты» означало: «Город будет без хлеба»... И скоро прозвучали знаменитые — заслуженно знаменитые! — насмешливые крестьянские слова, так ошеломившие, говорят, Ленина: «Как же, мол, так? Земля нам, а хлеб вам. Луга нам, а сено вам. Леса нам, а дрова вам» и т. д.

Земля перестала быть интересной. Стал интересным хлеб, а хлеба становилось все меньше. За ним приходили в деревню красные. За ним приходили белые, неся свою земельную политику, но реальных ценностей в обмен на хлеб и они не давали. Я не буду, не хочу останавливаться на эволюции земельных взглядов белых, закончившейся изданием рассчитанного на крестьян врангелевского земельного закона. Не буду потому, что, по моему глубокому убеждению, все это не входит в главные линии и общие перспективы нашей земельной истории, все это — и законы, и посулы, и ошибки — оставалось где-то в стороне, сбоку, и в период еще неизжитого народного угара, гражданской войны, только увеличивало общую революционную сумятицу. Существенно было одно: разгромленная революцией городская промышленность не давала деревне в обмен на хлеб каких-нибудь товаров. А революционные

деньги, и красные и белые, быстро обращались в бумажный хлам. Деревня не оправдала надежд ни красных, ни белых; она пряталась, отсиживалась и, начиная голодать, хозяйничала только на себя.

Пошли карательные экспедиции в деревню за хлебом. Пошли крестьянские восстания, потопленные в крови. Утопающий, говорим мы, хватается за соломинку. Японцы говорят гораздо сильнее: утопающий хватается *за змею*. Так погибающая деревня схватилась за ядовитую союзницу: убыль своих посевов. Все излишки у нее отбирались — не надо было иметь излишков!

Трудно разобрать, в какой мере сокращение посевов было умышленным. В огне революции сгорали силы деревни: гибли люди, скот и орудия. Посевы сокращались вынужденно, даже в потребляющей полосе России. Но была, несомненно, и умышленная тенденция: не работать на дармоеда — город.

Эта ожесточенная борьба города и деревни чуть было не погубила город и деревню. При первом же стихийном неурожае деревня оказалась без семян и запасов, она стала терять миллионы жителей от голодной смерти и поставила на край гибели города... Ведь запасов готового хлеба, товаров, вообще всяких благ на земле, а особенно в малокультурных странах, слишком мало для всех голодных; мнимые избытки основаны пока лишь на урезках в потреблении масс. И главная задача человечества и демократии совсем не в дележке, а все еще в неустанном создавании и накоплении *новых* ценностей.

1923

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Избранные стихи

* * *

Не говори: «Кто в ясный день печален,
Тот в день печали радостен лицом...»
Душа не встанет сильной из развалин!
Нет грустных сказок с радостным концом.
Умрет как раб, кто в сердце был ужален!

Верь облакам: доверчиво плыви
По воле ветра; тёмен будь в ненастье,
Пылай огнем и золотом любви —
И краткое, но ты узнаешь счастье!
Иного нет. Не жди и не зови.

* * *

Воспоминанья вкрадчивы и редки,
Но, как болезнь, их от себя гони!

Обламывай в душе сухие ветки,
Сжигай дотла обугленные пни.

И, дорожа спокойными часами,
Умей сдержать бессильный крик раба!
Не мучь им нас: и без тебя судьба
Отравит жизнь всему под небесами!

Не верь в людей, но в их страданья верь.
Кляни любовь и прошлые мгновенья;
Но женщине, любимой и теперь,
Задумчиво пошли благословенье...

В КАХЕТИИ

Какой живой простор!
Как нежен солнца луч!
Кайма зубчатых гор,
Венок из легких туч.
Колышется садов
Разубранная ткань,
Меж вольных берегов
Сверкает Алазань.

Все ярко — бронза лиц,
Веселый блеск очей;
Звенит веселье птиц,
Стремглав бежит ручей.
«Смотри — зовет простор —
Какая зелень, гладь!
Живи для солнца гор
И разучись желать!»

* * *

Я лежу на койке низкой,
А в раскрытое окно
Смотрит радостно и близко
Небо южное одно.
Ни клочка земли унылой,
Ни ветвей, ни мотылька...
Только стаей белокрылой
Проплывают облака.

Редко-редко в жизни душной
Открывается окно
В мир гармонии воздушный,
И умчаться мне дано
В это небо голубое,
Где, как музыка без слов,
Слышно реянье живое
Окрыленных облаков!

ПОД ГИТАРУ

Ты не верь тайным снам,
Поздней ночи сказкам!
Верь лишь — солнечным дням
Да недолгим ласкам.

В страстной прихоти — ложь!
Сердца жар остудишь,
А уж сил — не вернешь,
Слез — не позабудешь...

* * *

Осенние сумерки. Холод расплаты.
  Но борется сердце людей.
«На юг, — говорит оно, — в поезд крылатый!
  Умчимся от серых дождей!

Начнем перелистывать жизни страницы
  Назад уносящимся сном.
Пусть летних, улыбчивых дней вереницы
  Блеснут за гремящим окном.

Оденутся в зелень деревья нагие,
  В лучах будет радость дрожать...
Как будто догнать можно дни дорогие,
  От старости сердца бежать!

Обманем судьбу, отодвинем ненастье,
  Не все еще в вечность ушло:
Нам память хранит пережитое счастье,
  А юг — золотое тепло!»

ПАМЯТИ П. А. СТОЛЫПИНА

Убит, — и с нами нет его,
Теперь, когда гремят стихии!
Но завещал он торжество
Окрепшей, будущей России.

Он был — из одного куска,
Как глыба цельного гранита.
И мысль его была ярка,
Неустрашима и открыта.

Уже забытою порой
Полубезумного шатанья
Вернул он жизни — твердый строй,
Вернул он власти — обаянье.

Россией новой дорожа,
Он отстоял Россию дедов!
И жил он, ей принадлежа,
И пал, ей верность заповедав.

Блистателен его венец!
Огонь речей, деяний твердость,
И героический конец,
Все — точно знамя: «Честь и гордость».

И что нам грешная вина
И слабости его земные...
Он знал одно: что «нам нужна
Лишь ты, великая Россия!»

* * *

Еще так жарки солнца ласки,
Еще зовет, сверкает даль,
И в близость сумрачной развязки
Не верит светлая печаль.

Пускай мертвы воспоминанья,
Пускай надеяться нельзя, —
Еще осталось обаянье:
Жить, под пучиною скользя!

Куда бы волны нас ни мчали,
Мы блеск их вольный отразим
Не черным зеркалом печали,
А гимном страсти молодым!

* * *

Я не хотел бы воротить былое,
Все пережить иначе и смелей,
У старой скорби жало вынуть злое
И радость жизни чувствовать светлей.

Мне так ясна ошибок неизбежность,
Мне так понятны линии Судьбы!
Но далека от сердца безнадежность,
Я жажду вновь ликующей борьбы.

Теперь в тумане скудная окрестность,
Короче путь мой, солнце холодней...
Но сердце ждет. И эту неизвестность
Я не отдам за счастье прежних дней!

БРЕСТ

Она бредет, шатаясь, в исступленье,
С ножом в руке, истерзанная вся,
Едва дыша и, в буйном ослепленье,
Себе же в грудь удары нанося.

Опоена каким-то страшным зельем,
Всех обманув, обманута сама,
Она как зверь: взор искажен похмельем,
В нем дикая, мучительная тьма.

Упала в грязь... хрипит проклятья злые...
Так вот она, вот бывшая Россия!
Спаси ей честь, о Боже, вразуми:

Заблудшую, забрызганную кровью,
Покрой ее сияющей любовью!
И если жизни нужна моя — возьми.

(1919)

ВЕРСАЛЬ

Она лежит, как труп бессильный;
И вот — кровавый пир гиен
Над ней кипит во тьме могильной!
Живую — душит красный плен.

Она очнулась: кровь, пожары;
На небе молнии, гроза;
Просветлены мученьем кары
Ее молящие глаза.

Она, отчаяньем томима.
Кричит, — но все проходят мимо...
  Остановитесь! в грозный час

На помощь, братские народы!
На помощь, именем свободы!
  Иль Божий гром — ударит в вас.

(1919)

НА НОВЫЙ ГОД

Ave, Caesar!

Мы перейдем таинственную грань,
На нас самих покинутые Богом, —
И не увидим счастья за порогом;
Но там опять призывное: воспрянь!

Привет тебе, Год Огненной Печали!
Тебя мы славим, победив боязнь;
Так римляне, идущие на казнь,
Своих безумных Цезарей встречали.

Камин охвачен пламенем утрат:
Витает боль над грудой лет сожженных;
И, в алых ранах, мертвый Петроград
Глядит из пепла, город прокаженных!

Где пир огней? На эту ночь — из тьмы
Нам не разжечь их золотом и кровью;
Но будем тайно пламенеть любовью
И до утра — не будем меркнуть мы.

А там опять камин затопят новый
Под шум и ярость новых непогод.
С душой бойца, на жизнь и смерть готовой,
Тебя мы ждем: безумствуй, Новый год!

ОСКОЛКИ

Я брошен — холодным осколком —
На жесткую, грубую новь...
И в сердце затравленным волком,
Отчаяньем сжалась любовь.

Мой плен заколдованный тесен:
Иззубрены болью края,
И где-то в развалинах песен
Тоской шевелится змея.

Но раны судьбы не случайны;
За ними — бунтующий рост!
Весь мир — в озарении Тайны
В безбрежном крушении звезд!

И странникам новым, взгляните,
Простор для безумий широк.
А мы — это алые нити
Для поисков лучших дорог!

Все ярче, острей, непокорней
О счастье тревожные сны...
И мы — это черные корни
Зеленого шума весны!

УТРЕНЯ

Румянит солнце аркады узорные
В соборе царственном святого Марка.
Женщины молятся. Их шали темные —
Что маки черные в вазе огненно-яркой.

Блестит Распятие, византийски пышное...
Венецианки пред ним низринуты,
Для молитвы утренней, для псалма чуть слышного,
Корзины с плодами на рынке покинуты.

В мольбах изливаются — грусть виновная,
Тайна грешная, беспокойная...
Грезой о свежести томит лето знойное,
Бредит счастьем тревога любовная...

Слухом льнут к своему же признанию;
И смотрят в долгих очах Спасителя,
Есть ли ласка, ответ Утешителя
Плачу горлинок, воркованию...

Смутный пыл земной в женских молениях,
Но ты услышь, Господь, — пролей им сладости!
Властно бросил Ты на колени их, —
Исцели же их: исцелением радости.

* * *

В обрывистом, холодном серебре
Мерцает ночь, как призрак дымный.
Когда же День? Когда же гимны
Заре?

И грусть уводит — к радости былой!
Себя нельзя переупрямить:
Звенит, трепещет, тронутый иглой,
Диск — наша Память.

Но слушаешь, — и странен ураган
Разбуженных напрасно звуков.
Так зажигавший деда хор цыган —
Что он для внуков?

И даже нам, плененным стариной:
Сквозь дым кровавый всесожженья,
Сквозит лучистый блеск — иной...
Изгнание — преображенье!

О, Солнце новых, жадных к солнцу, дней!
Дай гнева и надежд Отчизне!
Дай — вихрей нетерпенья ей,
Для жизни...

* * *

Легкой жизни я просил у Бога:
Посмотри, как мрачно все кругом.
Бог ответил: подожди немного,
Ты меня попросишь о другом.
Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить...
Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Избранные стихотворные переводы

Омар ХАЙЯМ

Избранные четверостишия

* * *

Ты опьянел — и радуйся, Хайям.
Ты полюбил — и радуйся, Хайям.
Придет Ничто, прикончит эти бредни.
Еще ты жив — и радуйся, Хайям.

* * *

Мяч брошенный не скажет «нет» и «да»:
Игрок метнул, — стремглав лети туда!
И нас не спросят: в мир возьмут и бросят...
Решает Небо, каждого куда.

* * *

Мир — я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь. А пешки? мы с тобой.
Подвигали, притиснут — и побили;
И в темный ящик сунут, на покой.

* * *

Ты обойден удачей? — позабудь!
Дни вереницей мчатся; позабудь!
Небрежен ветер: в вечной книге Жизни
Мог и не той страницей шевельнуть.

* * *

От веры к бунту — легкий миг один.
От правды к Тайне — легкий миг один.
Испей полнее молодость и радость!
Дыханье жизни — легкий миг один.

* * *

«Не станет нас!» А Миру хоть бы что.
«Исчезнет след!» А Миру хоть бы что.
Нас не было, а он сиял; и будет!
Исчезнем — мы. А Миру хоть бы что!

* * *

Один припев у Мудрости моей:
«Жизнь коротка; так дай же волю ей!»
Умно бывает подстригать деревья;
Но обкарнать себя? — брось, пожалей.

* * *

Дар, своевольно отнятый, — к чему?
Мелькнувший призрак радости — к чему?
Потухший блеск, и самый пышный кубок
Расколотый и брошенный, — к чему?

* * *

Подвижники изнемогли от дум.
А тайны те же! душат мудрый ум.
Нам, неучам, сок винограда свежий;
А им, великим, высохший изюм.

* * *

Живи, безумец! трать, пока богат.
Ведь ты же сам — не драгоценный клад?
И не мечтай: не сговорятся воры
Тебя из гроба вытащить назад!

* * *

Сулят блаженства райские — потом!
Прошу сейчас, наличными, вином!
— «А слава?» — Полно! что такое слава?
Под самым ухом барабанный гром!

* * *

Вина! другого я и не прошу.
Любви! другого я и не прошу.
«А небеса дадут тебе прощенье?»
Не предлагают, я и не прошу.

* * *

«Вино пить грех». — Подумай, не спеши!
Сам против жизни явно не греши.
В ад посылать из-за вина и женщин?
Тогда в раю, наверно, ни души.

* * *

В словах Корана многое умно;
Но учит той же мудрости вино.
На каждом кубке жизненная пропись:
Прильни устами, и увидишь дно.

* * *

В учености ни смысла, ни границ.
Откроет больше — тайный взмах ресниц.
Пей! книга жизни кончится печально.
Укрась вином мелькание страниц.

* * *

Прах мудрецов уныл, мой юный друг!
Развеяна их жизнь, мой юный друг!
«Но нам звучат их гордые уроки...»
А это — ветер слов, мой юный друг!

* * *

Развеселись! В плен не поймать ручья?
Зато ласкает беглая струя!
Нет в женщинах и в жизни постоянства?
Зато бывает — очередь моя!

* * *

«От ран души вином себя избавь».
— Тогда на стол все вина мира ставь!
Моя душа изранена... Все вина
Давай сюда! Но раны — мне оставь.

* * *

Любовь вначале ласкова всегда.
В воспоминаньях ласкова всегда.
А любишь — боль! И с жадностью друг друга
Терзаем мы и мучаем — всегда.

* * *

Любви несем мы жизнь: последний дар!
Над сердцем близок, занесен удар.
Но и за миг до гибели — дай губы,
О сладостная чаша нежных чар!

* * *

«Слаб человек, судьбы неверный раб!
Изобличенный и бесстыдный раб!»
— Особенно в любви! Не я ли первый
Всегда неверен и ко многим слаб.

* * *

Сковал нам руки темный обруч дней:
Дней без любви, уныло-тощих дней.
А Время — скряга! — и за них взимает
Всю цену полных, настоящих дней!

* * *

На тайну жизни — где хотя б намек?
В ночных скитаньях — где хоть огонек?
Под колесом, в неугасимой пытке
Сгорают души; где же хоть дымок?

* * *

Проходит жизнь, летучий караван!
Привал недолог. Полон ли стакан?
Красавица, ко мне! Опустит полог
Над сонным счастьем дремлющий туман.

* * *

В одном соблазне юном — чувствуй все!
В одном напеве струнном — слушай все!
Не уходи в темнеющие дали:
Живи в короткой, яркой полосе.

* * *

Добро и зло враждуют; мир в огне.
А что же Небо? Небо — в стороне.
Проклятия и радостные гимны
Не долетают к синей вышине.

* * *

Что жизнь? Базар. Там друга не ищи.
Что жизнь? Ушиб. Лекарства не ищи.
Сам не мешайся, людям улыбайся,
Но у людей улыбок — не ищи.

* * *

Завел я грядку Мудрости в саду.
Ее лелеял, поливал — и жду.
Подходит жатва; а из грядки голос:
«Дождем пришла и ветерком уйду».

* * *

На кухне рыба жаловалась: — Чад!
В кастрюле тесно, жарко... Сущий ад! —
«А где не жутко?» — бормотала утка:
«Где и простор, поймают и съедят».

* * *

«Из края в край мы к смерти держим путь.
Из края смерти — нам не повернуть».
Смотри же: в здешнем караван-сарае
Своей любви случайно не забудь.

* * *

В чем тайна смерти? что случится — там?
Спрошу — кувшин. Припал, уста к устам,
И внятен голос: «Пей! ты не вернешься.
Прильни. И долго, долго пей, Хайям».

* * *

Влек и меня ученых ореол:
Я смолоду их слушал, споры вел,
Сидел у них... Но той же самой дверью
Я выходил, которой и вошел!

* * *

Во-первых, жизнь мне дали не спросясь;
Потом невязка в чувствах началась;
Теперь же гонят вон... Уйду, согласен;
Но замысел неясен: где же связь?

* * *

Ловушки, ямы на моем пути.
Их Бог расставил. И велел идти.
И все предвидел. И меня оставил.
И судит! Тот, кто не хотел спасти!

* * *

Наполнив жизнь соблазном ярких дней,
Наполнив душу пламенем страстей,
Бог отреченья требует? Вот чаша.
Она полна. Нагни — и не пролей!

* * *

Ты налетел, Господь, как ураган!
Мне в рот горсть пыли бросил; мой стакан
Перевернул, и хмель бесценный пролил...
Да кто ж из нас двоих сегодня пьян?

* * *

Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой.
Не в жажде чуда я и не с мольбой:
Когда-то коврик я стянул отсюда,
А он истерся: надо бы другой!

* * *

«Тут Рамазан, а ты наелся днем».
Невольный грех! так сумрачно постом,
А на душе так беспросветно хмуро,
Я думал — ночь! И сел на ужин днем.

* * *

Умей всегда быть в духе. Больше пей
И верь поменьше жалобам людей.
Жизнь — это очень бедная невеста;
Приданое — в веселости твоей.

* * *

Прекрасно — зерен набросать полям,
Прекрасней — в душу — солнца бросить нам!
И подчинить Добру людей свободных
Прекраснее, чем волю дать рабам.

* * *

Будь мягче к людям! Хочешь быть мудрей?
Не делай больно мудростью своей.
С обидчицей Судьбой воюй, будь дерзок,
Но сам — клянись не обижать людей!

* * *

Закрой Коран. Свободно оглянись
И думай сам. Добром — всегда делись,
Зла — никогда не помни. А чтоб сердцем
Возвыситься — к упавшему нагнись.

8 Зак. 3475

* * *

Не изменить, что нам готовят дни!
Не накликай тревоги, — не темни
Лазурных дней сияющий остаток.
Твой краток миг! Блаженствуй. И цени.

* * *

Вселенная? — взор мимолетный мой!
Озера слез? — все от людской одной.
Что ад? — ожог моей душевной муки.
И рай — лишь отблеск радости земной.

* * *

«Вперед! там солнца — яркие снопы!»
«А где дорога?» — слышно из толпы.
«Нашел!.. найду...» Но прозвучит тревогой
Последний крик: «Темно, и ни тропы».

* * *

Ты нагрешил? запутался, Хайям?
Не докучай слезами небесам.
Будь искренним! А смерти жди спокойно.
Там — или бездна, или жалость к нам.

* * *

Кому он нужен, твой унылый вздох!
Трать пыл земной, пока он не заглох.
Обещан рай? Бери земной задаток!
А то расчет на будущее плох.

* * *

Познай все тайны мудрости. А там?
Устрой весь мир по-своему. А там?
Живи беспечно до ста лет счастливцем;
Протянешь, чудом, до двухсот... А там?

* * *

Жизнь расточай! За нею полный мрак,
Где ни вина, ни женщин, ни гуляк.
Знай (но другим разбалтывать не стоит);
«Осыпался и кончен красный мак».

* * *

Кто розу нежную Любви привил
К порезам сердца, — не напрасно жил!
И тот, кто сердцем чутко слушал Бога.
И тот, кто хмель земной услады пил.

ГЁТЕ

ПЯТЬ ВЕЩЕЙ

Пяти вещей не совместить с пятью
(Открой свой слух, проникни в речь мою!):
Не будет другом человек кичливый.
Не будет чернь изысканно-учтивой.
К величию — сквозь подлость не пройти.
У зависти — пощады не найти.
Нет веры тем, чья криводушна речь.
Всё это помни и умей беречь.

ЕЩЕ ПЯТЬ

Что быстрее минут?
Труд.
Что томит целый день?
Лень.
Как всегда пропадать?
Ждать.
Как достигнуть удач?
Вскачь!
Хочешь мира с судьбой?
В бой!

* * *

Пока я честен был,
Не знал утехи;
Годами мучился:
Одни помехи.
Что за диковинка?
Когда ж успехи?

Я плутовать решил;
Пошли терзанья!
Хоть разорвись совсем,
Вот наказанье!

Решил я честным быть,
Оно достойней.
Хоть и невыгодно,
Зато спокойней.

* * *

Черт ли в нашей дружбе,
Вежливо сухой!
Вся она на службе
У вражды глухой.
Там, где мягче стелют,
Жестче будет спать.
Впрочем, пусть их мелют...
Мне ли унывать!
Спорить не умею,
Все беру как есть;

Лишь себе на шею
Не позволю сесть.
Что и где вам мило,
Не мешался я,
Линия и сила
У меня своя...
И всю жизнь мне кланялись,
Бешенство тая.

* * *

Тот французит, этот корчит
Или немца, или бритта...
Каждый ищет личных выгод
Или явно или скрыто.

И никто не будет признан
Ни толпою, ни друзьями,
Если в блеск его сиянья
Не войдут они и сами.

Завтра, может быть, у Правды
Благодарность вы найдете,
А сегодня в силе Кривда,
И везде она в почете.

Если три тысячелетья
Вас уму не научили,
Продолжайте жить в потемках,
День за днем, — как вы и жили!

Из «Книги изречений»

* * *

Споры — гибель! Спорят,
А частенько — не о чем.
Чушь и умный порет,
Связываясь с неучем.

* * *

«Так в Писанье! Ни на шаг
Вправо или влево!»
— Что же, всем и думать так,
Как Адам и Ева?

* * *

Благодарение Аллаху,
Что мысль — не там, где стон и плач.
Больной не выжил бы со страху,
Знай он болезнь, как знает врач.

СЮЛЛИ-ПРЮДОМ

КТО СКАЖЕТ

Кто скажет: «я забыл весны былые зори
И первую любовь, далекую, забыл»,
Когда, какой старик, с унынием во взоре,
Так скажет, если в нем осталась капля сил?

Не вечно ли в глазах живет очарованье
Когда-то милого, заветного лица?
А сердце — первые восторги обладанья
И горечь первых слез не жгут ли до конца?

Когда пылающий закат, изнемогая,
Сдается сумеркам — из глубины всегда
На той же высоте проглянет дорогая,
Все так же ласково, знакомая звезда.

Так в сердце, полное усталого покоя,
Едва затихнет день и шумный бред в крови,
Струится тайное дыхание былое,
Казалось, конченной, развеянной любви.

БУДЬ Я ТВОРЦОМ

Будь я Творцом, — исчезли б смерть и муки,
Сияла б радость ласковым лицом,
Не стало б слез и не было б разлуки.
    Будь я Творцом.

Будь я Творцом, — на яблоне бесплодной
Душистый цвет рассыпался б венцом!
И стал бы труд игрою сил свободной,
Будь я Творцом.

Будь я Творцом, была б еще безбрежней,
Светлей лазурь, — любви моей дворцом...
И лишь тебя оставил бы я прежней,
Будь я Творцом!

ТЕНИ

Покорная, за мною следом
Блуждает, вьется тень моя.
Но смысл движений ей неведом
В пыли, пустая толчея!

А я, беспомощный, а я?
Обрывок ночи, полный бредом...
Чему-то вслед, к чужим победам
Уводит жизни колея.

Я тень от ангела. Он тоже —
Неясный, шаткий отблеск Божий,
К земному первая ступень;

А ниже — мир еще туманней,
Полутревог, полумерцаний.
Там тень моя бросает тень.

ПАМЯТЬ

О память детства, вечно ты верна —
Назло годам, назло всему, что было!
Пусть отцвела далекая весна,
Ее цветов душа не позабыла.

Но все, в чем есть для сердца новизна, —
Мелькнет — и нет! И удержать нет силы.
Вчерашние мечты — уже немилы.
Недавняя любовь — обречена.

Так Виночерпий ловкий: до краев
Вина умело подливает в чашу.
Так наполняет время память нашу.

И — что последний каплей дел и слов
Туда влилось — толкнут, и расплескалось!
Но капля первая — на дне — осталась.

МОЙ РАЙ

Нет, не осилить Вечности. Жесток
Ее закон. Все чуждо, по-иному...
И слепо тянет к прошлому, к земному:
Испытанный, целуемый порог.

Я не бродяга, буйный и бездомный;
Я только дома счастлив и дышу.

А Бог и Небо чересчур огромны.
Я взгляда их, в упор, не выношу.

Тебе — лучи, в безбрежном их огне.
Мне в темной роще солнечные пятна.
Тебе — престол и холод звезд... А мне,
Мне — жар гнезда и щебет еле внятный.

Мне умирать. — Ты вечен... Но любовь
Сестра разлуке. Есть очарованье
В том, чтоб уйти и возвратиться вновь...
А смерть, — я помню, только расставанье.

Нет, рай похож — на родину мою.
Иначе он не ласков и не светел.
И быть не может, чтобы я в раю
Всех тех, кого люблю, — не встретил.

На что мне Рай, где вечною весной
Скучает все в лазурно-ясном гимне.
Отдайте мне — грозою полный зной,
Плач осени и гнев метели зимней.

Мой рай — мой дом. Иному я не рад.
Он — человечен; стало быть, прекрасен.
А ваш, надмирный, хуже во сто крат,
Чем ночь могил... Безбрежный — рай ужасен.

Поль ВЕРЛЕН

НАКАЗ ПОЭТАМ

Посвящено Шарлю Морису

Музыки, музыки прежде всего!
Ритм полюби! но живой, непослушный,
Ритм с перебоями, странно воздушный,
Все отряхнувший, что грубо, мертво.

Чувствуй слова! будь разборчивым строго,
Даже изысканным будь иногда.
Лучшая песня — в оттенках всегда:
В ней, сквозь туманность, и тонкости много.

Словно пылающий взор сквозь вуаль,
Солнце в полуденной дымке трепещет;
Звездочка искрой голубенькой блещет
В небе осеннем, где стынет печаль.

Только оттенки нужны! Краски грубы,
В красках нет жизни; оттенки лови!
В них обручаются, тайной любви,
Грезы и призраки, флейты и трубы.

В песнях не умничай. Хитрый намек,
Злая рассудочность — хуже отравы!
Щиплет глаза этот едкий чеснок,
Грубая кухня, дрянные приправы!

А красноречию шею сверни!
Что в пустозвонстве, и вялом, и праздном!
С рифмой построже: уму подчини,
Не поддавайся грехам и соблазнам.

О, эта рифма! с ней тысяча мук!
Кто нас прельстил побрякушкой грошовой?
Мальчик без слуха? дикарь бестолковый?
Вечно «подпилка» в ней слышится звук!

Музыки, музыки вечно и вновь!
Стих — должен реять мечтой окрыленной!
Должен из сердца стремиться, влюбленный,
К новому небу, где снова любовь.

Пусть — как удача, как смелая греза,
Вьется он вольно, шаля с ветерком,
С мятой душистой в венке полевом...
Все остальное — чернила и проза!

Артюр РЕМБО

ОЩУЩЕНИЕ

Июньский вечер, синий, благодатный,
Колосья колются, ласкается трава,
Ступаешь — свежесть мягкая приятна.
Без шляпы — в воздухе купайся, голова!
Ни дум, ни слов. Звенящая свобода!
Во мне цыган проснулся кочевой,
И я иду — к тебе, в тебя, Природа!
Как с женщиной, мне хорошо с тобой.

Жан-Мари ГЮЙО

МОИ ВЧЕРАШНИЕ СТИХИ

Я снова перечел — и не узнал я вас.
Так вот мои стихи, — вот ночи плод бессонной!
Ужель так стары вы? Не верит вам мой глаз;
Вы в сердце рождены, но слух мой изумленный
Сегодня внемлет вам как будто в первый раз.

О бедные стихи, любви моей поэма, —
Какая прелесть в вас так быстро умерла?
Иль для вчерашних чувств сегодня сердце немо?
Где ж эта свежесть их? во мне ль она была?
Как изменилось все, как охладела тема!..

— Но вы, читатели: вы от стихов моих
Стократно далеки! какой же тенью бледной
Мелькнут они для вас, — неведомых, чужих!..
Что вам мои стихи? вздох ветерка бесследный;
Успели вы, боюсь, забыть уже о них...

Ничто на их призыв в ответ не пробудилось!
Остались чужды всем стремления мои...
— Но в этих отзвуках живое сердце билось!
Но в вас любовь моя, в вас жизнь моя таилась,
О мои бедные вчерашние стихи!

Жорж РОДЕНБАХ

СНЕГ

О снег! о чистый снег, брат ласковый Молчанья,
Как сон — застенчивый, воздушный и немой!
Твой мягкий белый плащ, как тишины дыханье,
Ложится в сумерках, мерцая белизной.
О милый, милый снег! Все очертанья, краски,
Все шумы резкие, — ты нам смягчаешь их
И умираешь сам, с задумчивостью ласки,
Там, в серой дымке крыш и улиц городских.
Пленительная смерть! увы! такой напрасно
Мы для себя хотим: беззвучна и легка,
Она таинственна, безгрешна и прекрасна!
Роняют белый пух — и гибнут облака.
И нет, нет ничего! завеса туч бесплодных —
На хлопья нежные рассыпалась она;
И белых звездочек, уснувших и холодных,
Теперь, как кладбище, душа моя полна.

Анри де РЕНЬЕ

У МОРЯ

Ложись на берегу и в руки набери
Чудесного песку, как солнца золотого!
Дай вытекать ему из пальцев, и смотри
В простор шумящих волн и неба голубого.

Потом закрой глаза. Отдайся Тишине.
И ты почувствуешь, как будто в полусне, —
Нет тяжести! ушла из пальцев запыленных...
И думай, медленно, под звучный хор валов:
«Жизнь — это горсточка пылинок золоченых,
На время взятая у вечных берегов».

Жюль РОМЕН

ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ

Клочок бы лазури небесной!
И даже не отблеск, а дым
Сгоревшего вечера: с ним
Не так уже в комнатке тесно!
Сквозь окна синеют струи
Невысохшей грезы — последней;
Щемящих, но ласковых бредней
Парижской, а все же любви.

Спустилась упрямая мгла,
К ней город и сердце готовы...
Но если бы в сумрак свинцовый
И нежность укрыться могла!
Глаза твои... Ближе, о, ближе!
Надвинулись тени? Склони же
Смягченные взоры твои
И дай мне, в вечернем Париже,
Парижской, а все же любви.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

В Мариинском дворце. — «Нева», 1991, № 4.

С. 22. — В 1901 году я окончил Петербургский университет.

Еще в 1898 г. в тифлисской газете «Новое обозрение» (№ 4998) Ив. Тхоржевский поместил очерк «Из заметок студента», в котором писал: «Как и в былые годы, так и теперь „мечтатели" вступают в университет с жаждой готовой догмы, готового мировоззрения, — и, конечно, не находят его и, с презреньем отвернувшись от кафедры, ищут „широких горизонтов и далеких перспектив" — на стороне. Но подчинение готовым шаблонам не спасает их от обыкновенной истории житейских превращений, потому что, даже когда они искренни, они забывают вооружиться для „борьбы со злом" еще чем-нибудь, кроме благородного негодования, и выходят из университета, не запасясь знанием и не умея работать».

Витте. — «Нева», 1991, № 5.

С. 51. ...в книге С. С. Ольденбурга... — С. С. Ольденбург. Царствование императора Николая II, т. 1, Белград, 1939; т. 2, Мюнхен, 1949.

С. 72. ...изучить харитоновский проект и дать к нему подробные замечания. — Ранее Ив. Тхоржевский рассказал об этом более обстоятельно:

«Проект „Основных законов" был первоначально составлен в Гос. Канцелярии, под руководством графа Соль-

ского и барона Икскуля, П. А. Харитоновым (кто ему помогал — не знаю). Витте получил проект от Сольского.

Пробежав проект и сразу же найдя его чересчур либеральным, Витте вызвал к себе статс-секретаря барона Э. Ю. Нольде, управляющего делами Совета министров. Передавая барону харитоновский проект, Витте сказал: „Вы знаете многих там ученых законников, все они ваши приятели. Посоветуйтесь с кем-нибудь, но только потихоньку и лучше не с левыми. Сольский и так уже махнул чересчур влево. А тут пойдет шум и огласка“. Витте с досадой упомянул при этом о болезни профессора Дювернуа, на дружескую помощь которого он, Витте, „так надеялся“ (Н. Л. Дювернуа был профессором гражданского, а не государственного права, но в глазах Витте он являлся вообще юридическим авторитетом). „Все дело теперь в том, — добавил Витте, — чтобы получше разграничить указ и закон: побольше места оставить указу, то есть царю, и поменьше закону, то есть Думе. Спросите у знающих, какая из европейских конституций шире всего ставит права монарха. Я-то, впрочем, думаю, что лучше всего взять побольше не из европейских конституций, а из японской. Там у них есть парламент, но микадо остался — богом. Достаньте мне текст японской конституции“.

Рискую воспроизвести по памяти эти слова (даже в кавычках!), барон Э. Ю. Нольде передал их мне (своему секретарю) несколько минут спустя после разговора с Витте. Они мне показались — да и теперь еще кажутся — мудрейшими. Старый Нольде шутливо-добродушно добавил: „Бредит Витте теперь японцами. Прославился на мире с ними — и всюду давай ему японцев...“» — Ив. Тхоржевский. Воспоминания В. А. Маклакова, III. «Возрождение», № 4071, 27.03.1937.

С. 73. — Николай Степанович Таганцев. — Н. С. Таганцев рассказывал: «20 февраля 1906 года граф С. Ю. Витте писал барону Нольде: “Государственная Канцелярия *стряпает* проект основных законов.

Нам передана предлагаемая *предварительная* редакция. Окончательная редакция по недавним предположениям вытечет из рассмотрения проекта в Совете министров, а затем в общем собрании Государственного Совета. Будьте любезны, прочтите, продумайте, а затем прошу переговорить". (...) Как видно из бумаг барона Э. Ю. Нольде, он немедля приступил к исполнению возложенного на него поручения и притом с присущею ему служебною мудростью, одновременно с личным изучением проекта, передал его (...) своему секретарю по делам управления Кавказом (...) И. И. Тхоржевскому, для составления по нему замечаний и необходимых дополнений, что и было выполнено Тхоржевским, по его словам, в одну ночь. Работа Тхоржевского на 13 страницах, свидетельствующая и о знакомстве с вопросом, и о выдающейся талантливости автора, представляет большой интерес. Автор представил барону Нольде целый ряд не только замечаний по содержанию статей, но и значительные к ним дополнения (...). Эти замечания, частью переделанные, а частью и не переделанные бароном, в виде 65 пунктов (в порядке статей проекта Государственной Канцелярии) и были представлены Сергею Юльевичу». — Н. С. Таганцев. Пережитое. Петроград, 1919. С. 157.

Из воспоминаний о Кривошеине. — «Возрождение», № 2372, 29.11.1931; «Нева», 1991, № 6.

С. 90. ...севастопольское подвижничество. — А. В. Кривошеин был председателем Совета министров в правительстве Юга России — при генерале Врангеле, в Севастополе. Из Парижа в сентябре 1920 года отправился в Севастополь также И. И. Тхоржевский. Он писал потом: «Помню, (...) ринулся я по вызову и настоянию Кривошеина в Крым, бросив все, не прося и обратной визы в Париж, „генеральным секретарем правительства Врангеля“» (Ив. Тхоржевский. Гойевские рожи. «Русская мысль», Париж, 20.09.1949). В паспорте, который был ему выдан в российском посольстве в Париже,

Тхоржевский назван «управляющим делами Совета министров Юга России» — по-русски, а по-французски — «Secrétaire Général du Conseil des Ministres de la Russie Meridionale».

Перед обвалом. — «Возрождение», № 3545, 3549, 3551 — 16, 20 и 22.02.1935; «Нева», 1991, № 7.

С. 107. — Выбор, действительно, был удачен. — Министр А. Н. Наумов, в свою очередь, высоко ценил заслуги И. И. Тхоржевского по службе в министерстве земледелия: «Иван Иванович был, вероятно, прав, когда, покидая свою службу в министерстве, он при прощальном нашем с ним разговоре, 17 июня 1916 года, подчеркнул услуги, оказанные им Кривошеину. Нет сомнения, что он во многом содействовал популярности Александра Васильевича и доброму реноме его ведомства. Вспоминая совместную с Тхоржевским службу, продолжавшуюся почти все время моего управления министерством, я не могу не отозваться о нем с наилучшей стороны и высказать мою признательность Ивану Ивановичу за ту значительную помощь, которую я от него имел за все время моей министерской деятельности». — А. Н. Наумов. Из уцелевших воспоминаний, т. 2. Нью-Йорк, 1955. С. 352—353.

П. А. Столыпин. — «Возрождение», № 4042, 5.09.1936; «Нева», 1991, № 8.

С. 112. ...сказавши революционерам: «Не запугаете», Столыпин... — В сентябре 1936-го Тхоржевский выступил с речью памяти Столыпина на собрании эмигрантской молодежи — парижского отделения Национально-Трудового Союза нового поколения (НТСП). Свою речь он закончил так: «После революционного пожара останутся развалины и дым серых будней. Но будущие строители новой России скажут — уже не революции, а этим будням: не запугаете» (И. К. О. Памяти П. А. Столыпина. Панихида и траурное собрание. «Возрождение», № 4045, 26.09.1936).

С. 113. ...Столыпин всегда был практическим реалистом. — Тут можно добавить любопытную характеристику, сообщенную Ив. Тхоржевским в другой статье. Он рассказывал: «...Кривошеин вызвал меня из Парижа в Крым к Врангелю и расхваливал его — в беседе с глазу на глаз, помню, на вопрос: "напоминает ли Врангель Столыпина", ответил самым решительным н е т: „Может быть, это Наполеон, но, во всяком случае, не Столыпин. Совершенно другая натура! Врангель гораздо талантливее, но Столыпин был глубже, цельнее"» (И в. Т х о р ж е в с к и й. Около власти. Воспоминания Палеолога. «Возрождение», № 1194, 8.09.1928).

С т о л ы п и н в С и б и р и. — «Возрождение», № 2812, 12.02.1933; «Нева», 1991, № 9.

С. 115. ...Мятлев. — В 1920 году, когда, по призыву Врангеля, Кривошеин возглавил правительство Юга России, Владимир Петрович Мятлев сочинил по этому поводу такие строчки:

Власть запугана, власть рассеяна!
Вся надежда на Кривошеина!

(В. П. М я т л е в. После мятежа. Политические памфлеты и стихотворения 1917—1922 гг., Мюнхен, б. г., с. 21).

С. 118. — Он пророчески сказал Шингареву. — После Октябрьской революции 1917 года Шингарев, как министр Временного правительства, был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, оттуда переведен в больницу и там убит ворвавшимися в больницу матросами.

С. 118. ...по леонтьевскому совету. — Имеется в виду писатель Константин Леонтьев.

С. 121. ...Томским районом — всем Алтаем. — Алтай тогда входил в состав Томской губернии.

П а м я т и Г. В. Г л и н к и. — «Возрождение», № 3458, 21.11.1934; «Нева», 1991, № 9.

А. И. Гучков и его портреты. — «Возрождение», № 3946, 22.03.1936; «Нева», 1991, № 10.

С. 137. Да, Гучков притязал на русскую цельность. Но — если б это было так! — Позднее И. И. Тхоржевский писал: «Один из самых наблюдательных русских министров, помнится, утверждал, что вся беда Гучкова в том, что у него в крови помирились отец — старовер и мать — француженка...» (Ив. Тхоржевский. Воспоминания А. И. Гучкова. «Возрождение», № 4052, 14.11.1936).

Спор о Гучкове. — «Возрождение», № 3988 и 3989, 4 и 5.05.1936.

С. 144. Князь Львов продолжал обманываться и дальше... — «Расчет был на то, что все само собой „утрясется и образуется“ (слова кн. Львова), — пишет Ив. Тхоржевский в статье «Верный дядька революции» («Возрождение», № 4146, 26.08.1938). — В этом ослеплении временная власть осталась ненадолго. Но — факт, что старая административно-полицейская машина, пусть и несовершенная, была самим же Временным правительством, созвучным революции, разбита и доломана сверху».

С. 147. — Автор письма — Василий Алексеевич Маклаков. Письмо это датировано 27 марта 1936 года и хранится ныне в коллекции В. А. Маклакова — в архиве Гуверовского института при Станфордском университете в Калифорнии («Кентавр». М., 1993. № 6 — Г. З. Иоффе, С. В. Кулешов. В. А. Маклаков: вместо подчинения одним другим надо искать равновесие).

Люди, делавшие историю. — «Возрождение», № 4030, 17.06.1936.

С. 156. ...пишет мне из Белграда один из виднейших. — По всей видимости, тут подразумевается Петр Бернгардович Струве, живший тогда в Белграде.

Бурбоны и Орлеаны. — «Возрождение», № 3877, 14.01.1936.

С. 166. ...нынешние позорные попытки реабилитировать Распутина. — Годом позже И. И. Тхоржевский писал: «Пускай столичные сплетники напрасно „раздували“ толки о Распутине, но во сколько же раз больше виноваты те придворные и те сановники, которые принимали старца под свое крылышко — и сами на него опирались, под предлогом „невмешательства“ в жизнь царской семьи. Только потворство Распутину вырыло пропасть между властью и правой, по своему составу, Думой. Если у Государственной Думы были свои злые гении, толкавшие ее к революции, то как не осудить злых гениев бюрократии и Двора, внушавших Государю мысль „плевать“ на общественное мнение... Жизнь в дореформенной царской России протекала вовсе не „тихо и спокойно“. Так могло казаться (бесконечная идиллия!) только богатым придворным, жившим у царя, как у Христа за пазухой» (Ив. Тхоржевский. У царя за пазухой. «Возрождение», № 4074, 17.04.1937).

Попытка реабилитировать Распутина была предпринята и в книге И. Якобия «Император Николай II и революция» (Париж, 1939). Автор утверждал, что никак не Дума, а именно Распутин был опорой царю. По этому поводу И. И. Тхоржевский написал: «*Опираться ведь можно только на то, что способно сопротивляться. И угодничество, на верхах власти, — предательство.* Иначе судит г. Якобий. Его политическая философия чрезвычайно проста: он “против” Думы и “за” Распутина. Жалкая роль Думы в дни революции дает его позиции какую-то видимость оправдания. Но только видимость! *Настоящие* русские историки, Ключевский и Платонов — большие ученые, большие русские люди — судили совершенно иначе. Они ставили введение народного представительства выше всех других дел Государя. В полном согласии с Платоновым и Ключевским так судил и П. А. Столыпин, сам неплохо „делавший“ в свое время

историю. В свою очередь Платонов с величайшим уважением отзывается о Столыпине. *Останемся же и мы с этими людьми, с их суждениями!* Прочь темные лакейские наговоры!» — И дальше: «Простому народу было на Распутина „наплевать", скорее могло даже понравится — „мужик во дворце". Но для служилого слоя Распутин был — нож острый: „не ему же мы служили" (Ив. Тхоржевский. Крушение русской власти. «Возрождение», № 4192, 14.07.1939).

Под Пасху у Толстого. — «Возрождение», № 2874, 15.04.1933.

А. Ф. Кони. — «Россия», Париж, 24.09.1927 (№ 5).

В одном из его сохранившихся писем к А. Ф. Кони (от 28.01.1917) И. И. Тхоржевский благодарил за присланный очерк о поэте К. Р. (вел. кн. Константине Константиновиче) и рассказывал: «Случаю или судьбе угодно было, что единственное придворное дежурство, на которое я был назначен, было — у гроба К. Р. Я стоял навытяжку — в Петропавловском соборе, под балдахином, на ступенях у гроба, в золоченом мундире, — но часы шли незаметно, как-то хорошо думалось, многому подводились итоги, и главная мысль была в голове — та, что и в малом даре надо быть верным Творцу, надо сберечь и выразить его, — как это и сделал К. Р., не смущаясь скромностью своего дарования» [Рос. Национальная (б. Публичная) библиотека, ф. 564, оп. 1, № 3497].

Как Петербург стал Петроградом. — «Возрождение», № 2874, 21.07.1930; «Нева», 1991, № 1.

Три негатива. — «Возрождение», № 2568, 13.06.1932.

Земля и скифы. — «Вестник Русского Национального комитета», Париж, 1923, № 4. В основу этой статьи (она имеет подзаголовок «Русские земельные перспективы») положен доклад, о котором сообщалось в журнале «Дневник контрреволюционера», № 2 (Париж, 1923, июнь): «В здании русского посольства в Париже,

под председательством графа Коковцова, состоялось обсуждение необычайно интересного доклада И. И. Тхоржеского на тему “Русские земельные перспективы”. Отметим, что докладчик много лет служил в министерстве земледелия при А. В. Кривошеине». Кроме того, в Париже, с докладом «Об истории аграрной проблемы в России» И. И. Тхоржевский выступил 14 апреля того же 1923 года на собрании русской масонской ложи «Астрея», в которую он входил в 1922—1927 годы (А. И. Серков. История рус. масонства 1845—1945. СПб., 1997. С. 158, 160, 225, 269).

Фрагмент статьи — «Звезда», 1993, № 12.

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

«Не говори: „Кто в ясный день печален...“», «Воспоминанья вкрадчивы и редки...», В Кахетии, «Я лежу на койке низкой...» — в сборнике Ив. Тхоржевского «Облака» (СПб., 1908).

Под гитару — печатается по машинописному тексту в личном архиве Георгия Ивановича Тхоржевского (Женева). Первоначальный вариант под заголовком «У цыган» — в сборнике Ив. Тхоржевского «Дань солнцу» (Петроград, 1916).

«Осенние сумерки. Холод расплаты...», Памяти П. А. Столыпина, «Еще так жарки солнца ласки...», «Я не хотел бы воротить былое...» — в сборнике «Дань солнцу».

Брест, Версаль — в листовке, отпечатанной в Гельсингфорсе в 1919 г. под заголовком «РОССИЯ. Два снимка: 1. Брест. 2. Версаль. Стихотворения Ив. Тхоржевского».

На Новый год — «Новая русская жизнь», Гельсингфорс, 1920, № 1.

Осколки — печатается по вырезке из неизвестного издания, хранящейся в архиве Г. И. Тхоржевского. Первоначальный вариант стихотворения — «Новая русская жизнь» 1920, № 51, 3.03.

Утреня — «Возрождение», № 3735, 25.08.1935.

«В обрывистом, холодном серебре...» — печатается по газетной вырезке из архива Г. И. Тхоржевского. Вероятно, это вырезка из «Возрождения», но из какого номера газеты — остается невыясненным, так как нам еще не удалось просмотреть комплекты «Возрождения» за все годы (полного комплекта газеты в российских библиотеках нет).

«Легкой жизни я просил у Бога...» — печатается по публикации в кн: В. Солоухин. Камешки на ладони. М., 1988. С. 240.

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Омар Хайям

Избранные четверостишия печатаются по книге «Омар Хайям в переводах Ив. Тхоржевского», Париж, 1928. Учтена его позднейшая правка (от руки) на экземпляре книги, хранящейся у Г. И. Тхоржевского.

Приводим первоначальный (без учета позднейшей правки) вариант перевода двух четверостиший:

Сковал нам руки темный обруч дней —
Дней без любви, без помыслов о ней...
Скупое время и за них взимает
Всю цену полных, настоящих дней!

Сказала рыба: «Скоро ль поплывем?
В арыке жутко — тесный водоем».
«Вот как зажарят нас, — сказала утка, —
Так все равно: хоть море будь кругом!»

Развернутая характеристика переводов Ив. Тхоржевского — «Вопросы литературы». М., 1992, вып. III; Ворожейкина З., Шахвердов А. Сотворение русского рубаи. И. Тхоржевский — переводчик и интерпретатор Омара Хайяма.

Гёте

Все переводы печатаются по книге: Гёте. Диван. Париж, 1931.

Сюлли-Прюдом

Кто скажет — «Новая русская жизнь», 1920, № 66, 20.03.

Будь я Творцом — в сборнике «Сюлли-Прюдом в переводах...». СПб., 1991.

Тени — «Возрождение», № 1381, 14.03.1929.

Память — в сборнике Ив. Тхоржевского «Новые поэты Франции». Париж, 1930.

Мой рай — «Возрождение», № 3001, 20.08.1933.

Поль Верлен

Наказ поэтам — в сборнике «Новые поэты Франции». Первоначальный вариант перевода — в сборнике Ив. Тхоржевского «Tristia». СПб., 1906.

Артюр Рембо

Ощущение — в сборнике «Новые поэты Франции».

Жан-Мари Гюйо.

Мои вчерашние стихи — в книге: М. Гюйо. Стихи философа. СПб., 1901.

Жорж Роденбах

Снег — в сборнике «Tristia».

Анри де Ренье

У моря — в сборнике «Новые поэты Франции».

Жюль Ромен

Парижская любовь — в сборнике «Новые поэты Франции».

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

Приложение I

Приложение II

Избранные стихи

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЛЕТЕЙЯ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ

в Санкт-Петербурге:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»
Санкт-Петербург, Литейный пр., 57 (с 10:00 до 22:00)
8 (812) 273 50 53 www.podpisnie.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ВСЕ СВОБОДНЫ»
Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 23 (с 12:00 до 22:00)
8 (911) 977 40 47 www.vse-svobodny.com

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ»
Санкт-Петербург, Невский пр., 66 (с 10:00 до 22:00)
8 (812) 640 44 06 www.lavkapisateley.spb.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «СЛОВО»
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 9 (с 11:00 до 20:00)
8 (812) 571 20 75, 8 (812) 312 52 00 www.slovo.net.ru

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ «НЕВСКИЙ, 177»
Санкт-Петербург, Невский пр., 177 (с 10:00 до 20:00)
8 (812) 643 77 43 www.vk.com/dpcspbe

в Москве:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА»
Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 1 (с 09:00 до 24:00)
8 (495) 629 64 83, 8 (495) 797 87 17 www.moscowbooks.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ФАЛАНСТЕР»
Москва, Малый Гнездниковский пер., 12/27 (с 11:00 до 20:00)
8 (495) 749 57 21, 8 (495) 629 88 21 www.falanster.su

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ЦИОЛКОВСКИЙ»
Москва, Пятницкий пер., 8 (с 11:00 до 22:00)
8 (495) 951 19 02 www.primuzee.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «БУКВЫШКА»
Москва, ул. Мясницкая, 20 (пн.–пт. с 10:00 до 20:00, сб. с 10:00 до 19:00)
8 (495) 621 49 66, 8 (495) 628 29 60 www.bookshop.hse.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	**«БИБЛИО-ГЛОБУС»**
Москва, Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1	(пн.–пт. с 9:00 до 22:00, сб.–вс. с 10:00 до 21:00)
	www.biblio-globus.ru
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	**«У КЕНТАВРА»**
Москва, ул. Чаянова, 15	(пн.–пт. с 10:00 до 19:30, сб. с 10:00 до 17:00)
8 (495) 250-65-46	www.rsuh.ru/kentavr

в Минске, Киеве, Варшаве, Риге:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	**«ЭПОСЕРВИС»**
Минск, ул. Казинца, 123, оф. 4	
+375 17 338 95 23	www.tregross.com
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	**«КНИЖНЫЙ БУМ»**
Киев, Вербовая ул., 8	(вт.–вс. с 11:00 до 17:30)
+38 067 273-50-10	www.academbook.com.ua
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	**при «Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego w Warszawie»**
Ptasia 4, 00-138 Warszawa	
+48 22 826 17 36	www.jezykrosyjski.com.pl
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН	**«Intelektuāla grāmata»**
Kr. Barona iela 45/47, Rīga	(пн.–пт. с 10:30 до 19:00, сб. с 11:00 до 18:00)
+371 67315727	www.merion.lv

Электронные книги:

ДИРЕКТ-МЕДИА	www.directmedia.ru
ЛИТРЕС	www.litres.ru

Интернет-магазины:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА»	www.moscowbooks.ru
OZON	www.ozon.ru
NATASHA KOZMENKO BOOKSELLERS	www.nkbooksellers.com
ESTERUM	www.esterum.com
БУКВОЕД	www.bookvoed.ru
ЧИТАЙ ГОРОД	www.chitai-gorod.ru
MY-SHOP.RU	www.my-shop.ru
КНИЖНЫЙ БУМ	www.academbook.com.ua

Иван Иванович Тхоржевский
ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ
Воспоминания камергера

Главный редактор издательства
Игорь Александрович Савкин

Дизайн обложки *И. Н. Граве*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»

Заказ книг: тел. +7 (921) 951-98-99,
e-mail: fempro@yandex.ru, Савкина Татьяна Михайловна
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 А, оф. 536, 532

Редакция: тел. (812) 577-48-72, e-mail: aletheia92@mail.ru,
191015, г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Советская, д. 4, офис 304

www.aletheia.spb.ru

Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97
«Фаланстер», М. Гнездниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6
Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, kentavr@kpole.ru
в Киеве:
«Книжный бум». Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru
в Минске:
«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by
в Варшаве:
«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Tel. +48 (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl
в Риге:
«Intelektuāla grāmata»
Riga, Kr. Barona iela 45/47. Tel. +371 67315727, info@merion.lv

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Заказ №